**Борис Александрович Прокудин:** Дорогие друзья, сегодня мы поговорим с Кириллом Михайловичем Андерсоном — доцентом факультета политологии Московского государственного университета и доцентом кафедры истории социально-политических учений.

Кирилл Михайлович, я хотел бы начать с биографической части, с вашего рассказа о себе, но конкретизировать вопросы я хотел бы таким образом: расскажите, пожалуйста, о тех событиях в жизни, которые сформировали вас как личность…. Как вам кажется, были какие-то события, которые оказали решающее воздействие на ваше становление?

**Кирилл Михайлович Андерсон:** В общем-то, событий было не мало, и я не могу сказать, какие из них были решающие, а какие — нет, потому что человек меняется, как правило, незаметно для самого себя. Из таких глобальных событий, которые по молодости лет меня не очень огорчали, но зато огорчали моих родителей, такие события были. Сначала меня выгнали из школы №1, здесь недалеко от метро «Университет» за театром Джигарханяна. После восьмого класса мне поставили 4 по поведению, собирались ставить тройку, но при условии, что я уйду из школы, поставили 4. Я перебрался в другую школу, которую благополучно закончил. В последние два года я в ней учился. В общем-то, для родителей это было не очень хорошо, но поскольку та школа, в которую я попал, была английская, два последних года я учил язык на хорошем уровне, в хороших условиях. Второе событие, тоже опечалившее моих родителей, — когда меня выгнали из института.

**Б.П.:** За что вас выгоняли?

**К.А.:** Ну, у меня как-то больше всего с дисциплиной было…. Я учился на истфаке МГПИ имени Ленина, декан у нас был человек либеральный и сказал: «Я могу за это, за это, за это и за это…. Выбирай сам, что хочешь». Ну, я выбрал: «За систематический пропуск занятий без уважительной причины». Ну, меня было там не так много, я на втором курсе в первый семестр пропустил 250 часов, и во втором семестре 160. До конца второго я не доучился, поскольку меня раньше отчислили. Это были два таких эпохальных события, которые позволили мне сохранить свободу. А в то же время, если бы меня не отчислили из института, то, скорей всего, по окончании я попал бы в сельскую школу, и тогда, наверное, все сложилось бы иначе. Поскольку я, спустя какое-то время, восстановился в МГПИ, причем, декан сказал, что: «Только на вечернее, потому что больше трех раз в неделю я тебя видеть не могу», но как-то сложилось очень удачно: я, учась на вечернем, сначала попал работать в Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Правда, я там год проработал, а потом ушел. Там, все-таки, слишком строгая партийная дисциплина и прочие вещи. Но благодаря этому я, учась на вечернем, попал в руки Геннадия Семеновича Кучеренко, который стал моим научным руководителем, и он потом пригласил меня в аспирантуру Института всеобщей истории. Благодаря этому я стал, в конечном счете, фаталистом. Все, что ни делается, все к лучшему. И, по крайней мере, на каких-то крутых перекрестках (потом мне еще попадались такие перекрестки), когда, казалось бы, все рушится и валится, оказывается, что это, наоборот, дорога к свободе и к жизни.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, а вы что-то конкретное прогуливали? Или, как у графа Льва Николаевича Толстого, было ли у вас презрение к какому-то предмету?

**К.А.:** Вы понимаете, для того, чтобы прогуливать сознательно, надо знать что прогуливаешь, а когда ты даже на предмете не был, то прогуливаешь наобум Лазаря. Я старался не прогуливать военную кафедру, но тоже не удержался, а так — я просто прогуливал.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, по поводу вашего исторического образования и исторического предназначения, я слышал о вашей родословной, что ваш род восходит к самому Михаилу Михайловичу Щербатову, а еще вы говорили о том, что в вашей семье вы — историк в четвертом поколении. Можно ли так сказать, что когда вы учились в школе, то уже было понятно, что вы станете историком, что историк был для вас какой-то неизбежностью?

**К.А.:** Ну, история была в моем окружении, поскольку, действительно, в роду все историки: и мать, и отец, и дед, и бабка, и дальше были тоже историки, но, честно говоря, я в школьные годы как-то не очень тянулся к истории, меня привлекали другие вещи. Был бзик, как и у многих в той школе, где я учился, сначала МГИМО, экономическое отделение, но там математика, с ней я совершенно не в ладах. Потом у меня была идея пойти в рязанское ВДВ училище, тоже, конечно, была бредовая идея…. Нет, я как-то не стремился к истории, хотя, в общем-то, я жил в окружении недетских исторических книг. Первая книга, которая документально (на фотографии) зафиксирована в моих руках — это «История гражданской войны», которую я, рассматривая иногда, что-то вырывал, по соображениям несогласия с академиком Минцем или по каким-то другим. Надо сказать, что и мои родители не очень подталкивали меня к истории, хотя мой двоюродный дед был археологом, и я ездил к нему на археологические раскопки, но я не могу сказать, что меня тянуло к истории…. Мать была вообще против, сказав, что: «Историком только через мой труп, и так уже хватает в семье историков». Но так сложилось, что я оказался на истфаке в МГПИ, хотя мои родители оканчивали истфак МГУ, просто, видимо, они считали меня за полного балбеса. Но я был не совсем полный балбес, ну, был слегка балбесист, и поэтому определили меня в МГПИ, там полегче и конкурс и прочее. Плюс к этому, я помню, когда я пошел сдавать документы, то надо было проходить медкомиссию. Я пошел с моим приятелем. Мы жили рядышком (он финн по национальности), мы в одном доме жили. И когда пришли на комиссию, то мы немножко обалдели. Там был полный коридор девок, и мы начали гадать, как будет проходить медосмотр. Но он проходил совсем не так, как мы надеялись. Но, с учетом того, что МГПИ назывался по-другому «высшие женские курсы» или «женский монастырь», то, в общем-то, оказалось там нормально. А так у меня родители были против, но так вот случилось.

**Б.П.:** Все-таки фатализм, и никуда не денешься?

**К.А.:** Да, никуда не денешься, семейные легенды, традиции или не знаю что, какое-нибудь проведение божье привело на истфак, хотя честно могу сказать, что когда я на вечернем учился, то мне было легче, не потому что там программа другая, нет, те же самые преподаватели, все то же самое, но чувствовал себя не школяром, а человеком, который что-то зарабатывает. Тем более что мне повезло, потому что после года в Центральном партийном архиве я перешел в сам Институт марксизма-ленинизма на работу достаточно интересную, в сектор произведений Маркса и Энгельса, который готовил собрание сочинений Маркса и Энгельса на английском языке. Я был помощником подготовителя, готовил географические, биографические и предметные указатели и прочее…. И я был вынужден читать довольно много. Плюс к этому вспомогательная работа подготовителя, правда, как и работа в архиве, повлияла на меня, я стал несколько другим, потому что, понимаете, когда вы читаете в книге письмо того же Ленина, это одно, а когда вы держите в руках оригинал — это другое. И год, когда я работал в архиве среди документов, как-то заставил меня проникнуться каким-то чутьем или тягой к прошлому, что потом подкрепилось работой над собранием сочинений Маркса и Энгельса. И вкус пришел постепенно.

**Б.П.:** Но это тот же архив, тот же сектор, в котором Георгий Александрович Багатурия работал?

**К.А.:** Да, мы сидели в соседних комнатах. Только он занимался MEGA, а я работал в группе английского языка. Ну, естественно, и он был помоложе, и я был с волосами и, какое-то время даже без бороды. Правда, потом отрастил бороду, побывав в альплагере, и… но это уже было к концу моего учения в МГПИ, и, в общем-то, борода меня сподвигла на то, чтобы принять предложение Кучеренко и уйти в Институт всеобщей истории. Можно было оставаться в ИМЛе, и, в общем-то, отец мой тоже был за то, чтобы я остался, поскольку неплохой кусок хлеба, престижное заведение…. К тому же они открывали тогда аспирантуру, можно было оставаться там, но, слава Богу, глупость одной старой большевички сподвигла меня на то, что я все-таки с удовольствием принял предложение уйти в Институт всеобщей истории.

Я приехал с бородой после альплагеря, а там территория большая, бывшее здание Коминтерна, потом там СМЕРШ располагался…. Ну, иду там по их внутреннему садику, идет одна дама (из старых большевиков): «А что это у вас на лице какая-то мелкобуржуазная поросль?» Я говорю: «Какая же она мелкобуржуазная, если все классики были с бородами?» Она побежала в партком и говорит: «Андерсон себя с классиками сравнивает». Ну, и я понял, что надо уходить.

Хотя, надо сказать, что сектор Маркса, в который я попал в Институте марксизма-ленинизма был особым. Все-таки он считался идеологическим бастионом партии, и там было очень много бывших партийных работников и старых большевиков, и всего прочего. Но больше всего беспартийных сотрудников было именно в секторе Маркса, потому что всерьез заниматься Марксом, в отличие от истории КПСС и в отличие от научного коммунизма, там была идеология научного коммунизма, в том числе для того, чтобы заниматься Марксом, надо было что-то знать. По крайней мере немецкий, помимо русского, другие языки, потом немножко разбираться в политэкономии, философии и в истории. Поэтому там закрывали глаза на то, что многие сотрудники в секторе Маркса были беспартийные. В частности, там была такая очаровательная дама (ее рост так под 190) Ирина Алексеевна Бах — дочка академика Баха — народовольца и прочее. Удивительная и симпатичная тетка была… Когда я полностью приобщился к этому ремеслу не как к учебному предмету…

**Б.П.:** Уже стало интересно.

**К.А.:** Стало интереснее, хотя по-настоящему я ощутил себя на своем месте спустя довольно много лет. Но мне повезло, потому что когда я попал в Институт всеобщей истории, там еще были живы мастодонты исторической науки, тот же самый Манфред, тот же самый Вебер, Нарочницкий…. В общем, элита…. И общение с ними, конечно, давало очень много. На заседаниях сектора, ученого совета, на докладах я узнал, может быть, больше, чем во все время обучения в институте. И мне повезло, я попал в сектор, который был основан Волгиным. Назывался он «Сектор истории общественной мысли». После Волгина этот сектор возглавлял Поршнев Борис Федорович. Фантастическая личность: доктор философских, доктор исторических наук, специалист по разным вещам он писал и про первобытную психологию, он возродил и социальную психологию, он возродил историческую психологию….

**Б.П.:** Но он чуть ли не историю социально-политических учений развивал.

**К.А.:** Да, он продолжил выпуски ежегодника «Истории социалистических учений», который начал Волгин, потом продолжал он, плюс к этому у него книга о Мелье. По его книге «Народное движение Фронды» до сих пор учатся в Сорбонне, она признана учебным пособием, хотя советский исследователь…. Очень интересный человек…. Я с ним пообщался, поскольку поступал, и он еще был заведующим отделом…. Представьте себе, такой довольно тучный, лысый…. Сценка в нашем кабинете: приходит парень (мой однокурсник), который работает там курьером в экспедиции, садится в кресло Бориса Федоровича, входит Борис Федорович, а этот мой приятель Женя: «А, Борис Федорович! Знаете, давно хотел вас спросить: вот прочел тут одну вашу статью, что-то она у меня какие-то сомнения вызывает…» И Поршнев садится напротив него на маленькую табуреточку и на полном серьезе минут сорок объясняет ему, что он хотел сказать, что он сказал, какие там идеи и прочее. Не помню, по-моему, даже было связано с йети, потому что он искал промежуточное звено между неандертальцем и сапиенсом и увлекался историей снежного человека. Но суть не в этом. Когда выступал какой-нибудь маститый ученый, лучше всего доктор наук, еще лучше членкор, а совсем замечательно — академик, когда входил Борис Федорович, то эти академики бледнели, потому что академиков он размазывал совершенно беспощадным образом. И знакомство с ним было, к сожалению, очень краткое, мы с ним беседовали, общались, но он вскоре умер, потому что его книгу «О начале человеческой истории», где он усомнился в правоте Энгельса…

**Б.П.:** «Происхождение семьи…»?

**К.А.:** Он задался вопросом: «Труд превратил обезьяну в человека?», ну и Борис Федорович, как человек пытливый (а молодым ученым он всегда говорил: «Наука начинается с нескромности»), он усомнился: «А с какого переляху обезьяна начала трудиться?» Значит, все-таки сначала должен был произойти какой-то психологический сдвиг, потом уже меняется поведение, то есть вопрос: «Что первично бытие или сознание?» Ну и книгу запретили. У него был инфаркт, и он умер…. Я с ним общался очень мало, но, в общем-то, я надеюсь, что я перенял от него хоть что-то, а именно, никогда не чувствовать себя выше молодых сотрудников или студентов или кого-то еще.

**Б.П.:** А он занимался в основном этим?

**К.А.:** Он занимался международными отношениями, тридцатилетней войной, он занимался первобытной психологией, исторической психологией….

**Б.П.:** Он был очень широкий в своих начинаниях?

**К.А.:** Он был очень широких начинаний и всегда поощрял какую-то смену диспозиций, потому что, действительно, когда ты работаешь на одной грядке, то глаз замыливается и ты перестаешь ее воспринимать, а когда перешел на чужую грядку, а потом возвращаешься на свою, то смотришь на нее немножко по-новому. Плюс к этому он был, конечно, человек непростой, ершистый, несколько раз баллотировался в академики, хотя он явно заслуживал, но не прошел по причине своего характера. Кстати, один из его главных оппонентов Альберт Захарович Манфред — автор знаменитого «Наполеона» (великолепная книга, я бы даже сказал, такое литературно-художественное исследование), когда Поршнев умер, он написал некролог… Знаете, некрологи, как правило, бывают такими вымученными, а здесь была следующая идея: «Мы с Борисом Федоровичем всегда были не в лучших отношениях. Мы постоянно спорили, постоянно вели дискуссию, он не всегда был прав, я не всегда был прав, но какая жалость, что у меня нет такого соперника и противника сейчас». Вот эта порода людей, у которых, если хотите, рыцарственное поведение… Да, они вступают в открытую полемику, не пишут доносы в партком, а ведут честную борьбу, и они чувствуют, что равны друг другу… Когда-то я занимался боксом, и если у тебя хороший спарринг партнер, ты растешь. Если у тебя спарринг партнер слабенький, ты теряешь квалификацию. Поршнев был из тех людей, которые всегда в полемике, не взирая на лица, или даже наоборот, взирая, чем больше, тем лучше… Что-то это дало мне. Я считаю, что это, как раз, один из лучших людей. Ну, а плюс к этому, отдел, в который я попал и в котором спустя много лет я стал руководителем. Если посмотреть на западную программу истории политических учений, то где-то половина сносок приходится на сотрудников того отдела, где я работал. Штекли, Кучеренко, Осиновский, Володарский, Чиколини, Павлов... Ну вот, хотя бы то, что Штекли, которого я считаю своим учителем (Кучеренко и Штекли, Штекли с литературной точки зрения ближе мне), у него было пять или шесть книг ЖЗЛ. У Павлова было две книги.

**Б.П.:** А какими авторами они занимались?

**К.А.:** У Штекли были книги Кампанелла, Джордано Бруно, Галилей, Мюнцер, и здесь тоже любопытная вещь — историк выбирает тот сюжет (если это не заказная работа), который ему ближе и через который он может передать то, что у него наболело, накипело. Поэтому историки взрослеют довольно поздно, если в 25 лет ты в математике ничего не сделал, то уже ничего не сделаешь, а для историка расцвет это 35 — 40 лет, когда есть какой-то жизненный опыт, когда уже есть, что сказать. История — это тот же материал, как для скульптора глина и мрамор. Cами исторические события — материал для историка, чтобы передать то, что он хочет. Так вот, Штекли провел в песчаных лагерях в Казахстане лет десять. И все его герои: Мюнцер, Джордано Бруно, Галилей, Кампанелла… то есть все, что у него за это время накопилось и то, что он хотел сказать, он сказал через историю своих героев. Так же и Манфред не случайно обращался к Руссо, Дантону, Наполеону, потому что в его работах, особенно в «Наполеоне» (еще есть его последняя замечательная работа «Три портрета времен Французской революции»), он дал полную волю своему перу (он стилистом был великолепным, так же, как и Штекли, блестящим стилистом русского языка). И, смею надеяться, что я у него чему-то научился, потому что у него было хорошее правило: когда он читал чью-то статью (в частности, какие-то мои работы), он не просто указывал на ошибки, а предлагал свои варианты, на что можно заменить, как можно сделать. У Манфреда тоже было… Это какая-то передача… потому что для того, чтобы что-то сказать через историю, надо…

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, тогда в связи с этим вопрос: вы когда начали утопизмом заниматься?

**К.А.:** Утопизмом я начал заниматься по принуждению…

**Б.П.:** То есть нельзя сказать, что это была та тема, через которую вы хотели свои мысли высказать?

**К.А.:** Нет, значит, получилось так: когда я заканчивал МГПИ, уже вечернее, за мной носился декан, просил меня пересдать историю педагогики, чтобы я получил диплом с отличием, я возмущенно отказался…

**Б.П.:** (Смеясь). То есть сначала он вас выгонял, а потом он хотел, чтобы вы получили диплом с отличием?

**К.А.:** Он, в общем-то, был справедливым, 250 часов без уважительной причины — это многовато. Причем, когда я сдавал сессию за третий семестр, я прихожу, а он говорит: «Вы не сдадите». Я говорю: «Попробую». Прихожу, сдаю… И я попался на таком предмете, как «Средние века». У нас читал лекции профессор Семенов, мы по его учебнику и учились, а вела семинары такая суровая дама в возрасте, Кириллова. И я прихожу на консультацию, она говорит: «Что-то я вас как-то не видела». Я говорю: «Нет, я вас видел в коридорах…» Она говорит: «Приходите, вы будете семи пядей во лбу, вы не сдадите». Я: «Вы не первая». Ну, пришел, и, по закону подлости мне попался вопрос, которого, мне сказали, что не будет. Там что-то про Болгарию в средние века. Естественно, какая там Болгария…

Ну, я получил свои 2 балла, это только усугубило мое положение. Кстати, когда я уже восстановился на вечернем, то я восстановился на втором курсе, и у меня за третий семестр были сданы все предметы кроме «Средних веков». Но я исправно ходил на семинары, правда, вела уже другая, Кириллова читала лекции. И когда я пришел сдавать, прошло какое-то время (когда читаешь лекции, то не запоминаешь людей), я понял потом, что это — недостаток высокого роста. Она меня заметила и говорит: «Андерсон, а вы пойдете ко мне». Я хотел к семинаристу идти, с которой у меня были хорошие отношения и прочее, она говорит: «Нет, вы пойдете ко мне». А у нее была привычка: отвечаешь на вопросы, а потом она берет, не глядя: «А вот еще расскажите это». Мы с ней беседовали минут 40-50. Она в результате поставила мне 5 баллов. И потом она часто появлялась у нас в отделе в Институте всеобщей истории по своим делам. У нас с ней были прекрасные отношения, и, в общем-то, я ей благодарен за то, что она мне поставила 2 балла, и что я должен был вылететь с дневного отделения, потому что, в результате, было бы все по-другому. А что касается утопизма, то когда я оканчивал, у меня было два предложения: одно предложение было пойти на кафедру истории СССР (у нас была немного другая система, нам надо было писать одну курсовую по СССР, вторую по всеобщей истории), и по СССР я написал работу на основе тех документов, которые я обрабатывал в архиве. А это было не что иное, как «История концессии Хаммера» небезызвестного. И когда я принес научному руководителю (он жив еще до сих пор, Щагин Эрнст Михайлович) курсовую, он посмотрел, на каких источниках… Представляете, Центральный партийный архив. Туда близко не подпускают, а я приношу курсовую, написанную на основе этих вещей. Ну, он говорит: «Все, давайте в аспирантуру…» А второе предложение было от Кучеренко. Он тащил меня на Оуэна, которого я мало знал и который был для меня не очень привлекательным, потому что меня, честно говоря, больше тянуло в какую-нибудь американистику, а Европой как-то не хотелось заниматься. Ну, а потом, когда я, по просьбе Щагина, доделывал статью по концессиям и по Хаммеру, сунулся в два архива, где эти вещи были. Причем, я прихожу в архив и говорю: «У вас должно быть то-то и то-то». А мне говорят: «У нас этого нет». Я говорю: «Вы знаете, я — сотрудник такого-то архива (центрального партийного), у нас есть копия, а оригиналы у вас». Для того, чтобы получить эти документы нужна санкция министерства внешней торговли и министерства иностранных дел, ну, в общем, кранты… Я понял, что заниматься темой очень интересно, она мне очень нравилась («Иностранная концессия периода НЭПа»), но, учитывая, что будет очень много препятствий и будут мешать, поэтому я согласился и пошел туда. И Кучеренко, он предложил мне тему, он сам мне сформулировал, тема звучала зубодробительно: «Оуэнизм и формирование идеологии британского кооперативного движения первой половины XIX века». Что-нибудь более зубодробительное придумать сложно, и я сначала отнесся ко всему этому с большой неохотой, но мне повезло, потому что, действительно, тогда в отделе еще работал Библер Владимир Соломонович, тоже известный историк… Там были люди творческие, думающие все. И в общем-то, был вариант, что они могут тебя распять и показать, кто ты такой и где твое место под плинтусом, но мне повезло, что там были нормальные люди и профессионалы. Потом я уже убедился, когда стал профессионалом (прошло, правда, много лет, прежде чем я им стал), у профессионалов, по крайней мере, у историков, нет поводов для соперничества, потому что, в принципе, один пейзаж, один ландшафт, посадите десяток хороших художников и получите десять разных пейзажей. Если человек не уверен в себе, то он будет других отпихивать и говорить: «Не тронь, это мой пейзаж, я его сам окончу, больше сюда не лезь». Нет какой-то зависти, потому что у каждого есть свой стиль, у каждого есть свой слог, у каждого есть своя манера. А поначалу я относился к этому, во-первых, почти как школяр; во-вторых, как сотрудник Института марксизма-ленинизма, где какие-то стилистические вольности не приветствовались, а надо было говорить кондовым языком, например, тем же самым языком как словарь Остапа Бендера для журналистов…. Можно было посадить десяток историков КПСС и получить десять одинаковых произведений. И, в общем, я в таком же духе и сделал первый свой опус. Мне надо было сдавать экзамен, а до экзамена надо было делать реферат.

**Б.П.:** Но это был кандидатский экзамен? Вы готовились к защите?

**К.А.:** Да, вступительный я сдал, все было благополучно. Причем, мне, опять-таки повезло, один вопрос был по новому курсу Рузвельта, а среди комиссии был Мальков, у него как раз незадолго до этого вышла книга по новому курсу Рузвельта, я ее прочел и ему все честно рассказал….

**Б.П.:** То есть он рыдал.

**К.А.:** Да, а потом у меня с ним были очень хорошие отношения, такими они у нас и остались. А система была такая: отдел утверждал два вопроса и тему реферата. Один вопрос должен был быть по новейшей, а второй — по новой истории. Причем, это было где-то за полгода да экзамена. Я думал: «Господи, какая лафа, тебе дают билет, чтобы подготовиться за полгода!» Потом выяснилось, что это, может быть, более правильная система, чем та, которая сейчас у нас применяется, потому что от тебя требовали все: источниковедение, историографию, твои собственные соображения… По сути дела, это надо было не просто выучить, а надо было самому проанализировать, самому влезть в эту тему, и вот тогда ты видишь, на что способен человек, на что не способен, потому что любой экзамен — это лотерея: повезет, не повезет, а здесь уже все… Смог сделать, значит, ты показал себя, ну и реферат — все то же самое. А реферат я сделал в духе классической ортодоксальной историографии, у меня были Маркс, Энгельс, Роберт Оуэн и Оуэнизм, я сделал нарезочку из цитаток, накромсал, нафаршировал текстик этими нарезочками, перебивая легкими междометиями… Но и меня раздолбали в пух и прах. Причем объяснили: «Ты, вроде бы, нормальный человек, по-русски говоришь достаточно грамотно, какого черта ты пишешь дубовым кондовым языком?» Плюс к этому, Библер мне сказал такую вещь, которую я своим студентам иногда повторяю: «Название статьи не означает проблему, если нет вопроса, нет ответа». То есть любая статья должна содержать какую-то интригу, которую вы пытаетесь разрешить, какое-то противоречие, потому что если это просто нарратив, ну, это песня акына: «Вот идет верблюд, вот идет второй верблюд», а дальше — ничего. За это я благодарен Владимиру Соломоновичу Библеру, потому что он подсказал мне, как надо смотреть на вещи…

**Б.П.:** Как же звучала ваша тема с интригой?

**К.А.:** Тема-то осталась той же самой, но когда после этого кондового реферата, который мне раздолбали, я принес первую статью для ежегодника «История социалистических учений» (она называлась: «Беседа Роберта Саути»), и начиналась она с явления призрака поэту Роберту Саути, мои коллеги по отделу крякнули и сказали: «Ну, вообще, уместно», потому что заставочка, а потом пошел переход к сюжету. Ну и потом это у меня вошло в привычку, и, честно говоря, я стараюсь, чтобы первая фраза, первый абзац был не эпатажным, но привлекающим внимание, потому что когда начинается с каких-то скучных вещей, то, в общем-то, посмотрев на первую страницу, читать не хочется. А когда ты обнаруживаешь что-то неожиданное, ну, скажем, у меня статья начиналась с собрания в таверне лондонского Сити и т.д… То есть это мне помогло, потому что, действительно, были люди очень профессиональные, очень доброжелательные… Ну, и так получилось, что спустя энное количество лет я стал заведующим этим отделом и оставался им до… Причем, там менялось название: «История социальной мысли», «История общественной мысли и социальных движений», но суть не менялась…

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, но вы же под этими знаменами Оуэна остались до сих пор, вот вы говорили о том, что это не меняет…

**К.А.:** Это не меняло тему диссертации…

**Б.П.:** Нет-нет, я другое хочу спросить: за сорок лет, или сколько вы занимались этими вещами?

**К.А.:** Я занимался не только этим…

**Б.П.:** Ну, все равно, можно ли сказать, что за это время вы стали утопистом или вы остались прагматиком?

**К.А.:** Вы знаете, нет, во-первых, нормальный утопист это — крутой прагматик; во-вторых, конечно, занятие утопией… Знаете, когда я уже был директором архива, у меня спрашивали: «Какая ваше специальность?» Я говорил: «Специалист по утопии. Это — самая актуальная тема для нашей страны в любое время года и в любые года». Нет, утопистом я не стал, потому что утопия как предмет для изучения — да, плюс к этому занятие историческими утопиями позволяет выявить их родовые черты в современных проектах и программах, т.е., конечно, это позволяет анализировать…. А что касается Оуэна, то, поначалу как-то не складывались у меня с ним отношения, потому что, в отличие от сумасшедшего Фурье, от безумного Сен-Симона (гениально безумного и сумасшедшего), Оуэн очень прямолинеен, очень скучен и очень пресен.

**Б.П.:** То есть вы не находили в нем каких-то творческих вещей?

**К.А.:** Да, я не находил в нем изюминки. Философия — самая примитивная: человек — продукт обстоятельств, ничего нового. Сам он — просто ходячая икона: добродетельный, доброжелательный, энергичный, предприниматель и прочее… Но как-то очень все пресно. И вот пока я не нашел своего видения, своего Оуэна, в общем-то, им тяготился, а когда нашел, то стало все гораздо интереснее, потому что, скажем так, появился мой Оуэн, который кому-то понравится меньше, чем Оуэн других историков, но, по крайней мере, это мой, и его можно отличить от других. В этом-то и заключается смысл истории, чтобы найти свою точку зрения, создать свой портрет, свою картину. Это где-то сродни писательству, только писатель имеет больше права на домыслы, на вымыслы, а историк обязан опираться на материалы, на те свидетельства и доказательства, которые есть. Без доказательств мы не можем существовать. Другое дело, что большей частью эти доказательства достаточно либеральны, их можно толковать и так, и так: стакан наполовину полон или наполовину пуст, и то и другое — правда. Был случай, но это уже когда в архив приехали одновременно, не сговариваясь, две группы, знакомиться с материалами по Нагорному Карабаху. Одна из Азербайджана, другая из Армении. Смотрели одни и те же документы. Причем, им там переносили со стола на стол (сами они не очень-то общались), и, в итоге, мы потом от них получили то, что они написали на этом основании — две совершенно разные истории. Одни и те же документы, но совершенно разные истории. Поэтому, чем и хороша история, что, сколько профессионалов, столько и взглядов, и каждый имеет право на то, чтобы создать свое. Поэтому, даже если один и тот же сюжет, это не значит, что история исчерпана. Скажем, если брать русскую историографию, замечательный Наполеон Мережковского, который совершенно не похож на Наполеона Тарле, а Наполеон Манфреда не похож на Наполеона Тарле и на Наполеона Мережковского — три разных портрета. И история это допускает. Она оставляет свободу.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, а есть вот такая точка зрения среди историков, что сама история, когда ее пишешь, она не должна быть чем-то объективным, она, вообще, не для этого создается, она должна быть каким-то красивым мифом, который имеет целью воспитание нации… То есть история ставит перед собой какие-то другие цели, нежели объективное описание действительности, или вы с этим не согласны?

**К.А.:** Я, может быть, частично согласен, потому что, помимо возможности выражения своего видения (это ближе к художественному…), каждый художник видит по-своему, но есть еще и разные приложения своего ремесла. Мне было всегда интересно (из-за этого я вляпывался в истории) пробовать себя в разных проявлениях. Есть вещи, которые я делал и которые можно назвать чисто академическими, хотя даже в академических вещах я всегда старался писать литературно, потому что язык — это то же самое орудие ремесла. И, в конце концов, ни один человек на этом свете не обязан читать тебя. Если ты хочешь, чтобы тебя прочли, пиши так, чтобы тебя читали. Я писал для детской литературы, и, в основном, предисловия. Это другой стиль, это другое предназначение, потому что, честно могу сказать, что попалась мне как-то пара моих книжек, которые где-то валялись. По-моему, «Сэр Найджел» Конан Дойля, Вальтер Скотт «Талисман», «История Англии для детей» Диккенса… Я для них писал предисловия. А, кстати, верх нахальства, я писал предисловие к Библии для детей. Тогда издательство детской литературы выпустило…

**Б.П.:** (Смеясь). С ума сойти! То есть это то, что выпускалось в девяностые годы, эта серия красненьких книжечек?

**К.А.:** Она была большого формата с иллюстрациями Доре….

**Б.П.:** Первый класс! Расскажите, что вы написали в предисловии к Библии?

**К.А.:** Ее надо было назвать «Библейские легенды», потому что Библией нельзя было называть. И я написал что-то, но, честно говоря, по моим собственным ощущениям, это было ближе, наверно, к какой-то проповеди. Причем я работал себе в ущерб. Можно было писать предисловие до одного авторского листа, мое предисловие -- максимум 6-7 страниц, потому что, я считаю, предисловие не должно превышать… Оно должно камертончиком что-то задать, а дальше уже все идет. Это, скажем, то же, как разные применения. Когда приглашали, делал что-то на телевиденье, на радио… Это разные приложения, мне было интересно. Я, собственно говоря, и в архив-то пошел во второй раз, сначала в качестве зама, а потом — директора, потому что мне было просто любопытно. У меня был опыт менеджмента на уровне отдела, это, примерно, то же самое, что заведующий кафедры в институте… Мне просто было интересно попробовать себя в другом амплуа, но, опять-таки, связанным с этим ремеслом. То есть любое ремесло, а, тем более, ремесло историка, оно самое разнообразное: преподавание, какая-то популяризация, телевиденье… В общем-то, я в МГУ с восемьдесят первого года, и, несмотря на то, что менялись обстоятельства моей жизни, я все-таки сохранял связь с университетом, потому что преподавание — это одна из наиболее живых, большей частью, приятных и полезных форм применения ремесла историка. Это заставляет тебя держать форму, ты видишь реакцию, тебя заставляют быть в тонусе, следить за новинками и прочее…. Потом, ты вынужден уходить со своего поля, потому что, если бы я занимался как один товарищ, который был у нас и всю жизнь занимался союзом коммунистов, он выпустил восемь книг под разными названиями, но там было одно и то же, одна тема. И таких людей много…

**Б.П.:** (Смеясь). Есть такое выражение у Бердяева: мономыслитель.

**К.А.:** Ну, такие есть, им проще… Знаете, есть люди, которые прирожденны быть водителями трамвая, и без этих рельс, которые их везут, они никуда не денутся. И есть прирожденные таксисты, которым туда-сюда, все равно какая обстановка, это зависит от человека… Но то, что я старался найти всевозможные применения ремесла…

**Б.П.:** (Смеясь). Да, предисловие к Библии это, конечно, сильно!

**К.А.:** Это — верх наглости.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, я прошу прощения, мы чуть позже перейдем к университету, я хотел вас спросить… Вот вы сказали о Конан Дойле и о Диккенсе, можно сказать, что были какие-то книжки, которые тоже формировали ваше мировоззрение и изменили вашу жизнь?

**К.А.:** Я не знаю, я не могу сказать…

**Б.П.:** Или какие-нибудь герои художественных произведений даже?

**К.А.:** Ну, в общем-то, в детстве, я, конечно, увлекался, деваться было некуда, поскольку кругом одни историки, куда не плюнь. Я увлекался какими-то историческими романами, мне это было интересно… Того же Яна, Вальтерa Скоттa, все эти вещи… Понимаете, я не могу сказать, что есть какой-то один персонаж или одна книга, которая произвела на меня благотворное впечатление… В Библии есть хорошая фраза из послания Павла к Коринфянам: «Что ты имеешь, то мог бы назвать своим», потому что, действительно, все, что в тебе есть, ты получаешь либо от природы, либо от родителей, либо от людей, с которыми, может быть, ты больше никогда и не встретишься. Вы едете в метро, какая-то фраза до вас долетела, вы не знаете этого человека, но она где-то в вас осела, она осталась с вами. То есть, кто набивает твою кладовую?.. Мы идем, а за нами сеть тянется, в которую попадается самое разное, и мы сами не замечаем, откуда это берется. Поэтому, есть писатели, есть историки, перед которыми я прeклоняюсь как перед мастерами, которыми восхищаюсь и, может быть, по-хорошему, слегка завидую их литературным талантам…

**Б.П.:** Например?

**К.А.:** Например, Штекли, Манфред, Трухановский блестяще писал… У него замечательные биографии того же Черчилля, Идена… Давидсон Аполлон Борисович, который — специалист африканист, и у него блестящие книги по Гумилеву и его африканским мотивам, причем это написано на уровне хорошей литературы, с хорошими образами. То есть есть люди, которыми я восхищаюсь, и их не мало. Штекли был блестящим стилистом русского языка, несмотря на то, что он — Альфред Энгельбертович Штекли, и даже, честно говоря, какие-то конкретные приемы редактирования… Он приучал меня и приучил заниматься саморедактированием. Это самое сложное — редактировать самого себя, это очень тяжело.

**Б.П.:** Особенно сокращать.

**К.А.:** Да, но он мне показал, что, скажем, на страницу не может быть больше трех «что». Если какой-то термин, «трансцендентный», «имманентный», неважно, трудно произносимый, то есть, если речь идет о какой-то небольшой статье, то его нельзя употреблять больше, чем один раз, потому что он тяжелый, он убивает. То есть какие-то практические вещи… А остальное, так сказать, от Бога.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, я хотел еще спросить по поводу вашей университетской жизни: вот вы учились в конце шестидесятых годов…

**К.А.:** Я учился не в Университете…

**Б.П.:** Ну, в Институте…

**К.А.:** Я учился на высших женских курсах, чем горжусь.

**Б.П.:** (Смеясь). Вот, об этом я и хотел вас спросить… Дело в том, что в конце шестидесятых годов в обществе складывалась какая-то удивительная атмосфера… По крайней мере, сейчас мы это воспринимаем как какую-то романтическую атмосферу, и в вашем институте это, каким-то образом, аккумулировалось. Всякие барды, вот как это?

**К.А.:** Действительно, мне повезло, я поступил в МГПИ в шестьдесят шестом году, когда еще оставались следы Визбора, Якушевой, Кима, Фоменко, (Петр Фоменко тоже учился в МГПИ)… Как раз все эти КСП (Клубы Самодеятельной Песни), я еще застал эту атмосферу. И, честно говоря, в общем-то, я рад тому, что не поступал в МГУ (я и не пытался, честно говоря), а поступил в МГПИ. В ту пору МГУ был более идеологизированный, и здесь был более жесткий идеологический контроль, а к нам в МГПИ порой отправляли диссидентствующих людей…. Ну, скажем, у нас преподавали такие люди, как Молок, который специалист по Парижской коммуне, забавный был человек, Бурджалов, тоже был интереснейший человек, специалист по Октябрьской революции, которому не давали преподавать дальше феодализма. Но по уровню он не уступал Минцу. Кобрин совершенно блестяще преподавал археологию… Там была более вольная атмосфера…

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, это вы говорите о ваших преподавателях и какой-то интеллектуальной атмосфере, а вот эта атмосфера романтическая, которая создавалась или…

**К.А.:** А из-за чего я вылетел? (Оба смеются). Я слишком увлекся романтикой.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, еще один вопрос: эти барды, которые выходили из института, может быть, они и брали гитару в руки, потому что там было много девушек вокруг, или какие-то другие причины?

**К.А.:** Нет, я думаю, что, во-первых, эта пара «физики, лирики», больше в пользу лириков, плюс к этому, была очень хорошая атмосфера на факультете. Повторяю, она была не такая натужная как в МГУ, где контроль был жестче: «Здесь педагоги, ну что с них взять, отправить в деревню и все про них забудут», «…В деревню, к тетке, в глушь в Саратов». Это был какой-то всплеск, но я, правда, застал уже конец этого действия. Хотя уже позже меня (я окончил в семьдесят третьем, поскольку проучился больше, чем положено из-за, так сказать, вынужденного расставания), где-то в эпоху начала перестройки на истфаке МГПИ возникло такое общество, называлось оно «Община». Сначала это был дискуссионный кружок, который занимался историей русской общественной мысли, в основном девятнадцатого века.

**Б.П.:** А, община в смысле народничества?

**К.А.:** Да. Среди деятелей этого направления, большинство из которых в ту пору тяготело к анархизму. И, в общем-то, два человека из этой общины стали основателями конфедерации анархо-синдикалистов России времен перестройки. Это был небезызвестный Станкевич, который был заместителем Гавриила Попова, потом был вынужден эмигрировать, потом вернулся, сейчас где-то…

**Б.П.:** Заместителем, когда Попов мэром был?

**К.А.:** Да. Ему предъявили обвинение во взятке, по-моему, в 2000 рублей, а в те времена это была колоссальная сумма. Потом Шубин Александр. Сейчас он автор не знаю какого количества фундаментальных работ по истории анархизма, плюс к этому, он сейчас главный редактор журнала «Солидарность». И был еще один: это Исаев, нынешний единорос, а начинал он как анархист.

**Б.П.:** (Смеясь). А, Исаев, который тоже недавно был прищучен?

**К.А.:** Ну, его прищучили каким-то образом… Исаев же был директором, они создали школу по образцу бакунинских и кропоткинских заветов. Они на родине Бакунина устраивали конференцию… То есть Исаев начинал как анархист, а кончил как единорос, ну, или еще не кончил.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, а вы как-то примыкали к этому обществу, симпатизировали анархическим идеям?

**К.А.:** Нет, ну анархистам я симпатизирую, потому что я — человек немножко свободолюбивый…

**Б.П.:** То есть свободу вы понимаете тоже не как либерализм, а как анархизм?

**К.А.:** Ну, это уже было после того, как я окончил МГПИ, но, тем не менее, такие-то традиции из 60-х, они немножечко перекочевали и в 80-е годы, в другой форме… Хотя КСПшная деятельность, по-моему, велась и позже.

**Б.П.:** Прекрасно! Кирилл Михайлович, а как вы попали в МГУ?

**К.А.:** Ой, по случайности. Я говорю, что на собственном опыте прихожу к выводу, что фатализм — это самое правильное. Все, что ни делается, все к лучшему, и иногда бывают какие-то случайности. Значит, когда стал заведующим кафедры Николай Иванович Бочкарев, на кафедре было не так много людей, и были проблемы с преподаванием и, в общем. И, как человек умный (а он — человек практического склада), зная, что есть сектор Истории общественной мысли и социальных движений, который находится в Институте всеобщей истории, он решил наладить сотрудничество. И было решено провести совместное заседание сектора. По-моему, тогда его возглавлял Геннадий Семенович Кучеренко, и пришла в гости к нам на Дмитрия Ульянова кафедра. Замечательное здание на Дмитрия Ульянова 19, там было четыре гуманитарных института: История СССР, Археология, Этнография, Всеобщая история, Отделение истории там же располагалось… Здание примечательно тем, что оно строилось как виварий для экспериментальных собачек, мышек и прочих. Но, правда, скоро выяснилось, что там с вентиляцией что-то не так: мыши дохнут, собаки — тоже, поэтому решили поселить туда гуманитариев.

**Б.П.:** (Смеясь). Эти — живучие.

**К.А.:** Да, и вот у нас была такая маленькая комнатушка… Пришла кафедра, а нашей лаборантке (она была родом из Астрахани) прислали лещей и воблу. Ну, поскольку у нас тогда были простые в отделе, под воблу мы, тут же спустившись в буфет, взяли пива, Бочкарев и кафедра немножечко сомлели от такого, но не отказались. И тогда у Бочкарева (он, собственно, с этим и шел) возникла идея или просьба, кого-нибудь делегировать, чтобы прикрыть западное направление, западный фронт. Конечно, он хотел получить Штекли, потому что, все-таки, это доктор и блестящий оратор, правда, никогда не любивший читать лекции, но хорошо пишущий, знающий, толковый… Но, в результате, я уж не помню, там бутылку крутили или монету кидали и решили делегировать меня, и я не особенно возражал. Началось все со спецкурса, потом пошло больше, больше, больше… Хотя, честно говоря, у меня никогда не было такого желания преподавать. Но для многих, кто оканчивает педагогический, это свойственно.

**Б.П.:** Отвращение к преподаванию было привито еще в институте.

**К.А.:** Ну, в общем, да. Я помню, когда я проходил последнюю практику в школе рабочей молодежи, а эта школа была напротив американского посольства, для москомиссионторга, тогда москомиссионторг — это элита, это же шмотки, ширпотреб… И когда заканчивалась практика, мне куратор практики говорит: «Вы, наверно, преподавать не пойдете?» Я говорю: «Никогда!» Но я ошибся, потому что, во-первых, мне пришлось полгода заменять мою мать, она преподавала в библиотечном техникуме (ее перед пенсией отправили на повышение квалификации)…

**Б.П.:** А что преподавала?

**К.А.:** Она только историю преподавала. Это было, конечно, тоже симпатично, поскольку, в общей сложности, у меня там было несколько классов (где-то человек 200)… Библиотечный техникум, одни девицы, был один мальчик, Вася Иванов, и тот — негр. В принципе, я тогда отработал полгода, подменяя мать, но, даже в библиотечном техникуме, где много симпатичных, у меня как-то не возникло желания преподавать. Но здесь, к этому времени, я немножечко изменился, если бы это пошло как-то криво и косо, я бы ушел, но меня привлекло две вещи: во-первых, то, что Бочкарев дал полную свободу, и, поскольку я сам составлял программу, сам читал, то это — тот уровень свободы, о котором преподаватель может только мечтать.

**Б.П.:** А как назывался ваш курс, и как вообще, было два курса на кафедре истории социалистических учений?

**К.А.:** Нет, там просто шли лекции отдельно по Западу, отдельно по России.

**Б.П.:** Все-таки было разделение как сейчас?

**К.А.:** Да, было. Начинал-то я со спецкурса: один спецкурс был по анархизму, а второй спецсеминар я читал про предметы в утопиях. То есть, какие вещи упоминаются, почему, что стоит за этим…

**Б.П.:** Очень интересный и замечательный спецкурс.

**К.А.:** Да, потому что когда упоминаются те или иные предметы, за этим всегда что-то стоит, значит, он хочет что-то сказать, что стоит за этим и т.д.

**Б.П.:** А какой предмет чаще всего упоминается?

**К.А.:** Я сейчас так не могу сказать, но, из тех, что мы разбирали, там часто упоминалась посуда. Причем, подчеркивается, что глиняная…

**Б.П.:** А как вы это объясняли? Какая у вас была рабочая гипотеза всего этого?

**К.А.:** Ну, скажем, ясно, что когда упоминается глиняная посуда, это как бы подчеркивает бедность и прeделы разумных желаний. Потому что сама идея, которая есть в западных утопиях, то, что человек имеет слишком амбициозные желания. И если избавиться от роскоши, то тогда высвобождается огромное количество труда, которое можно направить на удовлетворение потребностей, достаточное для всех. И здесь, скажем, глиняная посуда как признак не аскетизма, но разумных потребностей, потому что, в конце концов, если я ем икру, то мне все равно, есть ее из фарфоровой миски или из глины. Глиняная, может быть, даже лучше, ее туда можно больше положить. Сначала я читал отдельные лекции, а потом оказалось, что на кафедре я был, по-моему, единственный западник, потихонечку большая часть «Запада» перешла ко мне. Дальше марксизма я никогда не подходил.

**Б.П.:** Ну да, там были свои уже…

**К.А.:** Да, там был Железняк, который читал марксизм… Как-то так, само собой сложилось…

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, извините мою неосведомленность, ведь вы в восемьдесят первом пришли, а кафедра была почти на 10 лет раньше создана…

**К.А.:** Ну, там Белов был…

**Б.П.:** Да, Белов, но он не очень долго был, потом Бочкарев его сменил, а вот курс по Западу, его читал Белов или кто-то другой, кто до вас этим занимался?

**К.А.:** Там, по-моему, кому поручили, тот и читал.

**Б.П.:** То есть основного лектора не было?

**К.А.:** Не было. А потом, когда я пошел на основной курс, то там одно время читал какие-то темы Дегтярев, знаете его… Самсонова Татьяна. Она, по-моему, сейчас на социологии… Она была моей напарницей, а потом ее сменил Леша Зоткин…

**Б.П.:** Она приходила на какой-то юбилей кафедры, такая небольшая старушка, по-моему…

**К.А.:** Ну, старушка… Женщины, особенно в политологии, никогда не бывают старушками. Вечно молодые.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, а ваш курс, он, наверно, постепенно как-то разрастался, становился больше по семестрам?

**К.А.:** Он то становился больше, то меньше…

**Б.П.:** А какие темы он включал, как его можно сравнить с сегодняшним курсом вообще?

**К.А.:** Скажем, он был больше подверстан под историю домарксистских учений. В какой-то степени, это был волгинский вариант, потому что Волгин сделал несколько очень хороших вещей: во-первых, он выделил историю общественной мысли (пускай домарксистская, а не марксистская) в отдельное направление, и это действительно отдельное направление, потому что, собственно, одно направление в истории отличается от другого только источниками, которыми вы пользуетесь. Если вы пользуетесь определенными источниками, то это требует определенной техники, определенной методики работы с этими источниками. Скажем, для истории общественной мысли — авторские тексты, пресса, публицистика, художественная литература, потому что тот же самый Томас Мор, его «Утопия» — это художественная литература. Это иконография, потому что, в качестве примера, в восемнадцатом веке меняется структура парадного портрета. Если в шестнадцатом, в семнадцатом веке государственный деятель -- это воин в доспехах, в шлеме с мечом, то в восемнадцатом веке даже воин, стоящий в латах, стоит на фоне глобуса или карты, на фоне библиотеки, то есть вот эта сопричастность к науке, просвещению… Или, скажем, перо, или сидит за письменным столом в колпаке и шлафроке и что-то пишет. То есть даже эти вещи — тоже источник, который требует определенных навыков. Это Волгин выделил, но он, правда, выделял на скорую руку. Плюс к этому, я так думаю, из политических соображений он, наверно, неосознанно следовал высказыванию Энгельса: «Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны». Здесь — то же самое: есть марксизм, мы берем его и прикладываем к тому, что было до. Если это попадает (по собственности, по чему-то еще), значит это предшественник, если больше 10% попадает, а остальное все — нет, значит, это где-то близко, но не предшественник. И вот таким образом он формировал перечень предшественников, потому что (ну, это, правда, началось с Каутского), Каутский, в общем-то, был предшественником Волгина и делал приблизительно то же самое. Собственно, он начинает говорить о коммунизме Платона и прочее, потому что здесь среди идейных направлений существует такая же конкуренция, как среди коммерческих компаний: «Наша фирма выпускает пиво с 1810-го, а наша — с 1850-го. Мы древнее», правда, это не значит, что пиво лучше, и тем не менее… Была такая вот жесткая схема, и под эту схему, по сути дела, подводился и курс. Тое сть, как ступеньки, предшествующие марксизму, марксизм как вершина и прочее. А ленинизм это вообще неохватное… Весь курс строился следующим образом: я доходил до марксизма и, собственно, на Сен-Симоне, Фурье и Оуэне я его останавливал. Причем я старался показать их как самостоятельных людей, а не как предтечу, потому что предтеча это что-то низкое. Тем более, что в таком вульгарном историзме есть некоторые ловушки и каверзы. Мы привыкли к линейному течению времени, причем его можно представить так: мы идем по плоскости и идем, но в нашем представлении линейное движение это какой-то подъем. То есть с каждым годом все светлей и радостней нам жить… И, соответственно, те, кто был до, они оказываются где-то там… Мы нравственно выше. Мы не дальше, мы — выше. А на самом деле все эти эпохи, как отдельные острова, которые связаны какими-то проливами, но это — отдельные острова. Линейное восприятие, которое нам свойственно, иногда вредит восприятию полной картины развития. А Волгин выстраивает это по принципу грубой восходящей линейности: сначала был примитивный Платон, потом пошли предшественники Маркса, тот же самый Томас Мор, хотя Мор в сочинениях Маркса и Энгельса упомянут один раз: «Канцлер Англии, который сказал, что овцы съели людей». У Ленина один раз, когда: «Как говорил Мор: ”При коммунизме нужники будут делать из золота”». Все, никаких анализов, ничего нет абсолютно.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, вы говорите, что примерно такой взгляд на историю социалистических учений предложил Волгин, а можно сказать, что на других факультетах, скажем, на философском, в курсе ИЗФ изучались те же тексты, или все-таки в его концепции, которая включала не только философские и научные произведения, но еще и некие сопутствующие источники, была какая-то новизна?

**К.А.:** Ну, про ИЗФ я ничего не могу сказать…

**Б.П.:** Вообще, в принципе, в других местах…

**К.А.:** Нет, если брать Волгина, то по сравнению с Каутским принцип не менялся, то есть это принцип подхода Каутского, которому была нужна длинная предыстория марксизма. Но то великое дело, что сделал Волгин, это издание серии «Предшественники научного социализма», которая хоть так и называлась, но, тем не менее, туда попадали и те, кого к ним не относили, потому что те же самые Дезами, Бланки, которые были скорее противниками марксизма, чем предшественниками. Это — его большая заслуга, потому что без доступности источников не может быть и истории.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, кафедра история социалистических учений, она существовала на отделении научного коммунизма, которое было создано в начале шестидесятых годов. Вообще, если возвращаться к вопросу об утопиях, можно ли сказать, что, по большому счету, научный коммунизм тоже был утопией? То есть изучение Томаса Мора, Оуэна и научного коммунизма, который все это должен был венчать, являются звеньями одной цепи утопий?

**К.А.:** Я бы не сказал, что это утопия, это, скорее, отчасти мифология… А потом, понимаете, история имеет определенные свойства: нормальная история всегда дистанцируется от каких-то жестких политических, идеологических рамок. И то, что было на кафедре (я не беру сюжеты, связанные с марксистским, с ленинским этапами и прочее, это был уже довесок к программе), но, все-таки, упоминали, что это стоит в том же ряду, что и Маркс, но это не означало, что надо делать упор на Маркса. К истории может примазаться любое политическое течение, но сама она, немножечко особняком. И поэтому, мне, когда я сдавал научный коммунизм (у нас был госэкзамен по научному коммунизму и, по-моему, атеизму и еще чему-то, там все в одну кучу свалили), и вот мне, как историку, было тяжело сдавать, потому что настолько аморфные фразы, настолько расплывчато… И когда тебя заставляют в точности повторить какую-то аморфную формулировку, а смысла в ней никакого, скажем: «Развитой социализм, это тот социализм, при котором…» — не запомнишь, потому что пустая фраза. А история она конкретна. Поэтому в курсе истории политических учений и истории социалистических учений важно было показать содержание этих учений, а уж привязать к Марксу или к кому еще, это было дело второе, дело техники. И если вы возьмете большую часть литературы семидесятых, восьмидесятых годов, вы увидите, что там, для приличия, авторы давали одну, две ссылки на Маркса, потому что, скажем, писать об античном полисе и ссылаться на Ленина, как-то… А сослаться на Маркса — редактор посмотрел и все, выложено. Причем, глупость была неимоверная. Я помню, когда, краткий период, я преподавал в библиотечном техникуме, приходит на занятие методист из РАНО, а методистами тогда, да и сейчас, становятся те люди, которые преподавать не могут, точно так же, как райздрав, люди, которые лечить не могут, но знают лучше других как надо. А у меня была тема, связанная с наполеоновскими войнами… И мне потом, после открытого урока, методистка и говорит: «Да, все ничего, все терпимо, но почему вы не использовали материалы последнего пленума ЦК?» Я говорю: «Вот как-то Наполеон к последнему пленуму ЦК отношения не имеет». Она: «Нет, вы должны…», и начала наседать. Правда, потом, когда выяснилось, что я — сотрудник Института всеобщей истории, она немножко успокоилась, отвяла… Вот это было. Сама по себе история, когда мы берем историю как историю, когда мы анализируем тексты того же Мора, того же Кампанеллы, Гегеля, кого-то еще, она нейтральна. А уж пришпандорить ее куда-то и повесить на нее ярлычок, ну, знаете, можно и рюшечку повесить, а можно и снять, от этого суть не меняется. По-настоящему история общественной мысли — это безбрежно, потому что в нынешнем нашем курсе мы берем то, что связано в общественной мысли с политикой, а если взять вторую составляющую, социальную или общественную (сюда же входит масса всего), сюда входят и гендерные вещи, и литература, и искусство… И даже такая вещь, как досуг. Скажем, досуг как форма политики. Тот же парк культуры, который создавался не как место отдыха, прежде всего, как парк культуры, а потом уже и отдыха. Значит, это парк, который должен нести новую культуру. Отсюда и планировка, и эти самые тетки с веслами, и прочее, потому что это было как бы продолжение школьной аудитории, где должно воспитывать человека. Это тоже общественное место.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, по поводу продолжения школьной аудитории, и вообще, темы вашего преподавания, в каких аудиториях произошли наиболее занятные ваши лекции, что необычного и, может быть, вычурного, запомнилось?

**К.А.:** Ну, насчет лекций не скажу, потому что, как правило, никто в меня не кидал тухлыми яйцами и помидорами, слава тебе, Господи, может, еще все впереди. А из самых запомнившихся приколов: было, одно время, на факультете афганское и кубинское отделение. Сюда приезжали афганцы и кубинцы. Кубинцы приезжали в уверенности, что они владеют русским языком, причем система была такая: человек учится в Институте физкультуры… У меня одна студентка там была… Она училась в этом институте, на втором курсе родила ребенка. Ребенку 3 месяца, ее вызывает партком и говорит: «Поедешь в Россию, учить философию». Вернее, научный коммунизм. Того, кто учил историю, посылают учиться на ветеринара, ну, в общем: «Партия сказала, комсомол ответил — есть». И вот она рассказывает: она учила русский язык в школе, потом учила два года у себя в институте, и когда прилетела сюда, то была в полной уверенности, что может разговаривать по-русски. И вот она сказала: «В аэропорту я поняла единственное слово: аэрофлот, больше ничего». А еще у кубинцев немножко нечеткое произношение. Они из Галисии. А у галисийцев акцент как у американцев: они говорят, будто жуют кашу.

**Б.П.:** Они еще съедают все окончания, я был на Кубе, они ужасно относятся к языку.

**К.А.:** Да, они как американцы: американцы съедают окончания, эти съедают, ну, близость к Америке сказывается. И вот они пошли в магазин, им был нужен нож. Они подходят к продавщице и говорят: «Нам нужен муж». (Смеясь). Она говорит: «Да нет у нас этого». Но кончилось тем, что сказала: «С такими-то мордами еще и каких-то мужей хотят». Плюс к этому, они еще и путались. У них же фунты, меряют-то не граммами, а потому они просили два грамма колбасы или еще что-нибудь в этом духе. Но это кубинцы, это еще полбеды, а вот афганцы были потрясающие. Принимаем экзамен, я, Таня Самсонова, с которой, как раз мы на пару принимали… Входит девушка, ну, Шахиризада из «Тысяча и одной ночи»: глазищи, все прочее… У нее в руках книжечка в бумажном переплете, и на ней такое чернильное пятно. И что-то такое написано арабской вязью. Она говорит: «Это словарь». Ну, словарь так словарь, садись, готовься. Но все в этом словаре вязью, а по-русски ничего и нет. Ну, я как-то обиделся, что она пошла к Татьяне, а не ко мне, я и говорю: «Тань, посмотри, по-моему, это не словарь». Ну, и выясняется, что это — какой-то там местный учебник, который ничем и никак не поможет на нашем предмете. Она получает 2 балла и уходит. Входит афганец, несет ту же самую книжку, с той же кляксой: «Это словарь». Следующий — то же самое. На следующий день все повторяется: сидит аудитория (причем, получилось так, что там были кубинцы, был один из Экваториальной Африки, говоривший по-французски и афганцы). А еще были наши. Ну, кубинцам я разрешил отвечать по-испански, благо, немножечко понимал, полякам — по-польски, причем, они были тоже, один садится и говорит: «Ой, пани профессоже, учил, учил, но так съезриколом…». Я говорю: «Як пане муве по-польску?» — «Пшиде на стетем разем (приду в следующий раз)». И потом они садились и отвечали по-польски. Значит, они отвечают по-французски, по-испански, по-польски, и входит афганец. С этой книгой, с этим чернильным пятном. И говорит: «Это словарь». Я говорю: «Да что вы, родной, тут же написано ясно…», ну, наши прибалдели, конечно. А еще пришли двое афганцев на пересдачу, им дали вопросы, я им говорю: «Идите, сядьте где-нибудь, подготовьтесь и придете». Они пришли через две недели. Это, конечно, был самый яркий прикол.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, а вы еще рассказывали когда-то историю, как вы читали лекцию врачам-психиатрам.

**К.А.:** А, это было, да. Это тоже была эпопея, пожалуй, самая страшная лекция в моей жизни. Mой приятель — врач-психиатр, работавший в Институте психиатрии (тогда этот институт размещался в Кащенко — хорошее место, намоленное), он был там председателем Совета молодых ученых, ему надо было организовать какую-то лекцию по культурной революции в Китае, и он попросил меня. Ну, поскольку я имел доступ к тассовским материалам, то этой вещью интересовался. Ну, и я согласился. А в ту пору Институт психиатрии возглавлял академик Снежевский. Фигура очень сложная, через него проходили все наши диссиденты, во время войны он был главным психиатром вооруженных сил… Ну, к чести его, надо сказать, что он многих спас, поставив им диагноз, тем самым спасая от расстрела за трусость, за панику. Он — автор замечательного изобретения, которое называется «вялотекущая шизофрения». Суть его в том, что если у человека возникает какой-то диссонанс с реальностью, то это — признак вялотекущей шизофрении. И если я не люблю советскую власть и компартию, то у меня вялотекущая шизофрения. И вот туда-то меня и пригласили читать лекцию. За мной прислали машину директора…

**Б.П.:** (Смеясь). Вот тогда вам стало страшно, да?

**К.А.:** Нет, поначалу еще не очень, когда мы въехали в ворота, стало немножко страшнее, перед началом меня проводили в кабинет директора, мы выпили чуть-чуть чайку и прочего, ну, такая протокольная беседа, буквально 5-10 минут. А потом меня вводят в зал. В Кащенко окна зарешеченные, у каждого, как известно, своя ручка, так просто не выйдешь, и в зале сидит человек 50 в белых халатах, с лицами, свойственными психиатрам: «Ничего, не волнуйтесь, мы и это вылечим…» Смотрят как-то сострадательно, и когда я начал читать лекцию (она была не очень длинная, но, тем не менее), у меня на подсознании: «В какую дверь меня поведут обратно, туда или туда?» Но все закончилось благополучно. Если они что-то заподозрили, а, может быть, даже и выявили, то они не показали виду. Снежевский подарил мне и моему приятелю литр спирта, чтобы снять напряжение, что было очень кстати. Но, действительно, это был опыт, так что мне довелось пообщаться со Снежевским. Вообще, я пытался вспомнить, с кем я ручкался из именитых людей: Николай Рыжков, Михаил Горбачев, Анастас Микоян, ну, Матвиенко несколько раз, в бытность ее еще вице-премьером, в общем, могу составить такой поминальник из больших персон, с которыми довелось быть, а с Горбачевым я даже сфотографирован….

**Б.П.:** Это в архиве?

**К.А.:** Да, там была открыта выставка, посвященная расстрелу еврейского антифашистского комитета, и это был первый визит бывшего генерального секретаря в бывший Центральный партийный архив. Он был там, и есть эта фотография, так что, когда буду писать мемуары, то обнародую эту фотографию.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, а расскажите уже об архиве. Вы его возглавили в 92-м году, а когда вы туда пришли?

**К.А.:** Я пришел туда в феврале 92-го года. Там история была такова, что мой хороший знакомый по институту, правда, он работал в отделении истории, но поскольку в этом же бывшем виварии находилось отделение истории и наш институт, мы с ним были в хороших отношениях, общались, и он стал первым директором архива после того, как он был национализирован. Козлов Вадим Петрович, сейчас он членкор и т.д. И он меня приглашал к себе на работу. Но, поскольку я был заведующим отделом в Институте всеобщей истории, а не всякая богадельня так хороша, как Институт всеобщей истории, потому что там был принцип телемского аббатства: «Поступай по своей воле». Если ты в конце года должен представить статью, книгу или что еще тебе положено по плану, где ты это делаешь, как ты это делаешь — никого не волнует. Хочешь, садись и делай за день, а потом весь год гуляй, хочешь весь год гуляй, а потом, в конце садись и делай, хочешь ночью, хочешь на даче, хочешь, где хочешь, два присутственных дня в неделю. Летом — вообще ни одного. Но, единственное, за зарплатой все приезжали.

**Б.П.:** А там аспирантов никаких не было?

**К.А.:** Были.

**Б.П.:** Были аспиранты, но преподавательской деятельности не было, да?

**К.А.:** Да, причем, может быть, нескромно, но аспирантура — был штучный товар. Когда я поступал в аспирантуру, у меня на курсе было 2 человека: я и еще одна дама, которая занималась новыми левыми в Германии, было еще двое или трое целевиков и все. Понимаете, на нашем факультете и вообще, в МГУ, немножко другое: ты начинаешь работать с ними как со студентами, потом они перерастают в аспирантов, и такое, немножко школярское отношение остается. Как в их отношении, так и в отношении к ним. Правда, потом некоторые дорастают до доцентов, и становимся уже коллегами на равных, но это требует какого-то времени. А там этого нет, и в этом была прелесть. Ты приходишь, ты — коллега. Никого не колышет, что ты — аспирант или не аспирант. Да, там есть какие-то аспирантские дела, которые нужно делать, но, в принципе, ты — коллега на равных.

**Б.П.:** Но еще, наверное, не все аспиранты были только что окончившие, были и повзрослее люди, или нет?

**К.А.:** Ну, в основном, целевики. Некоторые были повзрослее, а некоторые — тоже только оперившиеся. У меня там приятель один (сейчас он профессор Одесского университета), он занимался первобытной историей и археологией. Но когда-то, в свое время, Одесский запросил целевку (целевую аспирантуру), никого не нашлось, и его отправили заниматься средними веками. Правда, после этого ему пришлось переквалифицироваться на историю Украины, но это уже потом, после распада. Там была другая система, другие отношения… Не было старших, младших, все — коллеги, все одинаково работают… Да, конечно, какие-то возрастные нюансы поведения существовали. Там было как-то по-другому, не знаю, лучше, хуже, но готовили штучный товар, потому что, действительно, я уже сказал про экзамены, это — совершенно другая система.

**Б.П.:** Да, разумеется, это такой тип экзамена, это подтверждение того, что человек напишет хорошую диссертацию, подтверждение его компетентности. Да, но ваш приход в РГАСПИ…

**К.А.:** Меня мой приятель уговаривал, сначала он меня прельщал должностью заведующего отделом публикаций и внешних сношений, но я сказал, что я и так заведующий отделом, мне это не интересно, а потом, в феврале, он позвонил и говорит: «Приходи, нужно переговорить». Ну, я в тот день был очень жалостлив почему-то, и он уговорил меня прийти к нему замом директора хотя бы на время, поскольку у меня был такой период, когда я занимался проблемами подготовки персонала для малых предприятий и даже участвовал как эксперт в каких-то еэсовских вещах, и немножко был связан с издательским делом (по крайней мере, разбирался в авторских правах и прочих вещах). Он: «Помоги мне наладить внешние связи». Благо — языки и т.д. Ну, я согласился и пошел к нему на полставки заместителем директора. Причем, я, конечно, спросил дозволение у Чубарьяна Александра Огановича, директора Института всеобщей истории, которому я, в общем-то, тоже очень многим обязан, по крайней мере, глядя на него, я перенял какие-то менеджерские приемы, которые характерны именно для гуманитарных организаций.

**Б.П.:** (Смеясь). То есть это очень сложный менеджмент?

**К.А.:** Конечно, сложный. Когда я работал в архиве, у нас было 250 человек персонала, из них 17 — кандидатов, 9 — докторов, 5 — лауреатов государственной премии.

**Б.П.:** Ужасно! Kак руководить?!

**К.А.:** Вот, а ты какой-то там кандидатишка, доцентик…. Нет, в общем, можно найти… Так я спросил разрешения у Чубарьяна, он сказал: «Конечно-конечно», потому что получить доступ к архиву Коминтерна и заслать своего казачка — великое дело. Я согласился. Проработав там полмесяца или месяц, выяснилось, что замдиректора не может быть на полставки. И пришлось опять идти к Чубарьяну, потому что я уже ввязался, я туда притащил с собой двух людей, которые пришлись там очень кстати. Одного вы знаете, это Андрей Доронин. Он был аспирантом в Институте всеобщей истории, я его притащил, чтобы он тоже занимался международными вещами. И я уже людей сбил с панталыку, уходить как-то неудобно… Ну, я Чубарьяну и говорю: «Так, мол, и так». Он говорит: «В чем тогда проблема? Остаетесь на полставки в институте, идете на полную ставку замдиректора туда». Когда я это сделал, буквально через неделю или полторы Козлова назначают заместителем руководителя федеральной службы Росархива, а я остаюсь директором. У меня получилось так, что замом директора, де-факто, я пробыл где-то около месяца, де-юре — два дня, после чего стал директором. Это, честно говоря, было несколько неожиданно, потому что после работы в архиве, когда меня выгнали из института, я обходил это здание стороной, потому что у меня были не самые лучшие воспоминания, хотя там хорошие люди, но вот сама атмосфера очень жесткая. Причем, мне еще «везло»: только я выйду покурить, идет директор, через два часа снова выхожу покурить, опять он идет. Как нарочно: «Андерсон, что-то вы много курите». Не буду же я ему объяснять, что выхожу, раз в два часа и: «Что вы ходите смотреть, как я курю?» Поэтому, для меня все было неожиданно, хотя мне было проще, чем Козлову, он для них был сторонний человек, я был свой. С учетом того, что там, в ИМЛе, когда-то и отец работал, да и потом я там еще пацаном был… Меня помнили еще кучерявым, а тут приходит уже лысый дядька… Но вообще, конечно, жизнь бывает удивительной, потому что если бы мне кто-нибудь сказал в шестьдесят восьмом году, когда я в первый раз попал туда научно вспомогательным сотрудником, что пройдет какое-то количество лет, и я буду сидеть в кресле директора, а дочка генерального секретаря — подавать мне кофе… А, действительно, когда я туда пришел, в приемной работала дочка Константина Устиновича Черненко, Елена Коновалова. Знаете, мир свихнулся, но он, действительно, свихнулся.

**Б.П.:** (Смеясь). И это человек, которого отовсюду отчисляли, выгоняли, и дочка генерального секретаря подает кофе… Кирилл Михайлович, вы стали так быстро директором, это был Центральный партийный архив….

**К.А.:** Он уже назывался Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, РЦХИДНИ.

**Б.П.:** Все эти архивы там сохранились, вы — представитель интеллигенции, у вас много дворянских корней, сложная семейная история… У вас было желание найти в этом архиве что-то для себя, что бы вам объяснило развитие истории, какой-то пафос первооткрывателя у вас был тогда?

**К.А.:** Понимаете, пафоса не было, хотя, кое-какие документы своих родственников я нашел, в частности, я нашел анкету моего деда. Была партийная перепись, по-моему, тридцать второго года, потому что о своем деде, от которого я унаследовал фамилию, я знал не так много. У него была сложная судьба, он до войны попал под раздачу, войну прошел в штрафном саперном батальоне. Правда, потом к нему как бы смилостивились, в партии не восстановили, но он преподавал в Пермском университете. А потом как раз должна была быть вторая волна, я уже тогда родился (это был пятьдесят второй год, мне было 3 года), он умер, потому что ожидал, что его снова потянут. Он похоронен в Перми, могила упоминается даже в пермском некрополе. Его последняя жена (у него их штук пять было)…

**Б.П.:** Он был жизнелюб, да?

**К.А.:** Да, хотя и латыш.

**Б.П.:** Андерсон — это латышская фамилия?

**К.А.:** Это псевдоним деда. Он был в социал-демократии латышского края, и когда началась Первая мировая, то три брата уехали из Латвии. Двое, в том числе мой дед, отправились в Америку, где дед примкнул к какой-то латышской эмигрантской компартии. Потом, в восемнадцатом году, вернулся, был в красной гвардии в Архангельске, потом оказался среди латышских стрелков, был в первой конной, где познакомился с моей бабушкой.

**Б.П.:** (Удивленно). В первой конной армии? Потрясающе!

**К.А.:** Да, бабушка — дворянского происхождения, служила в редакции какой-то конно-армейской газеты, какой-то «Дивизион», они там и познакомились. А потом дед первым получил (он и Нечкин), они получили первыми, дед — кандидата, а она — доктора. Потом дед стал доктором, естественно, исторических наук. Он работал заместителем директора Института красной профессуры, потом, когда пошли гонения на латышей, там Кнолин был арестован, а заодно и его арестовали. Правда, он попал в хорошие руки, был капитан госбезопасности, который вытащил очень много коминтерновцев, к нему же попал мой дед, и, в результате, его освободили 22-го июня 41-го года, осудив на срок предварительного заключения. А дальше — другая история… А последняя жена деда (по-моему, в прошлом году она была еще жива), она была чуть-чуть моложе его (по-моему, лет на 20-30).

**Б.П.:** Но вы нашли какие-то документы, связанные с ним и разобрались в истории?

**А:** По крайней мере, в этой переписи указано место рождения, другие вещи…. Потом мне даже удалось попасть в Латвию и найти своего родственника, было довольно забавно, там одна восторженная дама помогла мне найти его. У него редкая фамилия, настоящая фамилия моего деда, она достаточно редкая для Латвии, и родственник оказался достаточно видным деятелем националистического движения. Один из лидеров Комитета латышских граждан. И когда моя знакомая меня с ним свела, он был немножко напуган… Во-первых, он думал, что я буду притязать на хутор (чего я не собирался делать), во-вторых, к великому дракону куклуксклана приезжает родственник, оказывающийся негром. Вот, приблизительно, то же самое и здесь. Он из Комитета латышских граждан, антикоммунист, русофоб и прочее, и вдруг из России приезжает мужик, который говорит что он — его родственник, а он-то искал своего дядю (моего деда) в Америке, он знал, что он туда эмигрировал. Везде искал, а в России не догадался, и когда узнал, что дядя в России, да еще и в большевиках состоял, то для него это было тяжелым ударом, больше мы с ним не виделись, я к этому и не стремился. Плюс к этому в архиве были материалы по Кронштадтскому мятежу, и мне совершенно случайно нашли приговор трибунала, вернее, стенограмму судебного разбирательства. Мой двоюродный дед (брат моей бабки — дворянки, которая оказалась в первой конной), он был одним из первых морских летчиков. И когда его эскадрилья перешла на сторону кронштадских мятежников, он пошел с ними, потому что у него, как и у многих интеллигентов той поры, был принцип: «Быть с народом, куда народ, туда и я».

**Б.П.:** Он сам эсером был?

**К.А.:** Нет, он был офицер. Он окончил Михайловское училище, потом стал летчиком… И в итоге, поскольку он — дворянин, его единственного из эскадрильи и расстреляли. Процесс, насколько я представляю, длился минут 8-10… Вот такие вещи. Cказать, чтобы пафос — нет. Просто, когда ты воспринимаешь какие-то события, будь то Кронштадтский мятеж или что-либо еще не только как какие-то исторические события, но и как то, что имеет отношение к твоей семье, в общем-то, немножко по-другому относишься к истории.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, а по поводу отношения к истории и по поводу того, как к вам попали документы, связанные со всеми этими делами… В истории вашей семьи, с одной стороны, было много дворян, а с другой — дедушка, от которого вы унаследовали фамилию, перешедший на сторону революции….

**К.А.:** Хотя он, в общем-то, из семьи куркуля. Мой родственник, националист, поверил, что я свой, когда он достал фотографию, на которой был мой прадед, на голову возвышаясь над остальными. И, если я на кого и похож, то на своего прадеда. Правда, родственничек обещал прислать фотографию, но так мне ее и не сделал. А прадед был крутой мужик. Он сумел у немецких баронов оттяпать землю. Он был настоящий такой латышский куркуль. Мой дед был не из бедных крестьян, а сыном латышского кулака.

**Б.П.:** Как вы с этим всем примирились?

**К.А.:** А чего мириться? Что я буду путешествовать во времени и менять свое прошлое? Понимаете, во-первых, там разные корни, разные люди… Вторая бабушка была из обычных прибалтийских мещан (у меня так получилось, что одна бабушка родилась в Дербте, вторая — в Каунасе, дед — в Латвии, всего понемножку), та бабушка с десяти лет занималась портняжным мастерством, и она была портной. Причем она всю жизнь работала на дому. За исключением военного времени, когда шила шинели в Первую мировую в Твери. А так она работала на дому, но она работала на кремлевское ателье. Она шила жене Аввакумова, она шила Землячке, еще кому-то… Она была очень хорошая портниха, судя по тому, что к ней (она умерла в 70-е годы) ходили дамы, которые приходили к ней в 20-е, 30-е годы, и она их обшивала. Причем она действительно была профессионалом, я видел, как она за один день с одной примеркой сшила зимнее пальто на подкладке и с меховым воротником. (Смеясь). Она была самым разумным человеком в нашей семье. Все это дает ощущение какой-то сопричастности к истории, но заслуги предков не могут быть твоими заслугами. Просто через это ты более привязан к своей истории, к своей стране, к своему прошлому.

**Б.П.:** Скажите, пожалуйста, а этот дедушка и его братья, которые стали большевиками, они были народниками?

**К.А.:** Братья не стали большевиками.

**Б.П.:** Только он один?

**К.А.:** Один умер в Америке, а второй поехал в Россию через Аляску, но так и не доехал, вернулся в Латвию и стал владельцем хутора, и его сын стал одним из националистов Латвии. А так у меня один из прадедов служил в военной миссии российского посольства в период Первой мировой войны, занимался поставками оружия в Россию, будучи по должности акцизным чиновником (в обмен на спирт). На него есть очень хорошая ссылка в воспоминаниях Игнатьева «Пятьдесят лет в строю». Это был глава военной миссии, экономист, и там упоминается мой прадед. Он после революции так и остался там. Он умер во Франции, похоронен в Ницце, а его дети оказались в России, и все оказались на стороне красных. Один был расстрелян в Кронштадте, второй, тоже окончивший Михайловское училище, служил уже в Kрасной армии военным инженером, а младший (когда началась революция, он был еще в гимназии), он стал историком, и по его учебнику я учился в школе.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, опять же, что касается документов, с которыми вы столкнулись, когда стали директором архива, вы могли бы назвать те из них, которые произвели на вас сильное впечатление? Вот вы достали документы, и просто изменилось ваше представление об этом периоде или о каких-то личностях? Там же много личных архивов.

**К.А.:** Да, там много личных фондов, но когда смотришь на эти вещи с точки зрения профессионала, нет какого-то восторга, умиления… Да, я держал в руках автографы Сталина, Ленина, Маркса и прочих… Когда попал в первый раз, еще пацаном, изгнанным студентом, то все это было более романтичным и мистическим, потому что, когда ты держишь в руках автограф Горького или Ленина, это совершенно другие ощущения, другая энергетика от самого документа. А когда это становится частью твоей повседневности, то воспринимается совершенно по-другому. Понимаете, мне повезло в том отношении, что тот архив, в который я попал директором, был немного в стороне от моих профессиональных интересов. Я все-таки западник, в основном по XIX веку, а там по XIX веку — Маркс, ну есть еще Годвин, французы есть еще, это мне было более интересно. А что касается запоминающихся встреч с документами, наверно, две вещи: первая — это расстрельные альбомы (это, действительно, производит очень гнетущее впечатление), это такие большие альбомы, страниц на 100-150. Там собраны со всего Союза, и там только фамилия, имя, отчество и ничего больше… На первой странице: «К расстрелу» и подпись Сталин, Хрущев, Берия, Коганович и прочие. Тогда представляешь себе тогдашний механизм репрессии, абсолютно бездушный и бьющий по площадям, как это было во времена Французской революции. Тогда террор был не против конкретных врагов, а во времена Робеспьера была задача не судить, а карать. И принадлежность к дворянскому роду или родственники за границей становились поводом для того, чтобы оказаться на эшафоте. То же самое и здесь, какая-то бессистемность. По площадям бьют для того, чтобы устрашить. Это — один из главных и явных мотивов. А второе — даже не документ: по правилам делопроизводства, когда в Кремле проходило заседание Политбюро, то собирали все бумаги, которые оставались на столе. Ну, может, кто-то и уносил с собой, но в ряде случаев запрещалось выносить записи. И то, что оставлялось у Сталина, собиралось. Иногда это были какие-то календарные обрывочки, на которых что-то написано. И вот попадается проект постановления, написанный на пачке папирос. Там же выдавались папиросы. В кабинет Сталину в месяц выдавалось 3000 папирос, потому что курили… Там немерено чаю, сахару, и все расписано. И довольно часто попадаются такие вещи: он ведет какие-то записи и рисует чертиков. Вернее, не чертиков, а он почему-то рисует динамовский знак. А еще карикатуры членов Политбюро друг на друга. Но когда видишь такие вещи: записочки, пометки для себя, то можно представить, как бы изнутри, как это все проходило.

**Б.П.:** Динамовские знаки это интересно.

**К.А.:** А кто-то сидят и рисуют шаржи друг на друга.

**Б.П.:** Когда человек рисует, то он же не задумывается, здесь он рисует то, что первое придет в голову.

**К.А.:** В принципе, мне так или иначе пришлось знакомиться со сталинской эпохой, поскольку 16 лет работать в архиве, где Коминтерн и Сталин представляют наибольший интерес для людей, никуда от этого не денешься. Было много проектов. За 16 лет архив выпустил около 200 изданий, это довольно много даже для исследовательского института, не говоря уже об архиве. Поэтому, конечно, соприкасаешься, но, опять-таки, я думаю, мне это пошло на пользу, поскольку мне пришлось еще заниматься сталинской эпохой, я не стал специалистом, я не пишу каких-то вещей, хотя на нашей конференции…

**Б.П.:** Вас приглашают на передачи как большого эксперта по поводу Сталина.

**К.А.:** Вы знаете, мне вчера позвонили, пригласили на РенТВ на передачу по поводу Северной Кореи, я к ней не имею никакого отношения. Хотя у меня есть подозрение, что они перепутали фамилии: Не Андерсон, а Кимдерсон.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, я хотел задать вам вопрос по поводу Сталина и Ленина, который мне представляется очень интересным и важным для нашего времени. Вам не кажется, что эти два человека: их жизнь, их биография, истории связанные с ними, это настолько мифологизировано, то есть напластование мифов вокруг них настолько плотное, что нельзя сказать практически ни одного слова о них, которое было бы правдой. Практически все, что сказано о них, в любом мифическом пласте, является, так или иначе, ложью.

**К.А.:** Не путайте миф и ложь, это все-таки разное.

**Б.П.:** Прошу прощения, не ложь, а вымысел. Вам приходилось работать с документами, документы для историка считаются истиной в последней инстанции… В связи с этим два вопроса: как вам кажется, как соотносятся эти два образа, с одной стороны, мифологический Ленин и мифологический Сталин, и те образы, которые вырисовываются по их документам? А второй — можно ли вообще сейчас написать какую-то объективную биографию того и другого, или нам нужно подождать, когда пройдет какой-то неопределенный срок?

**К.А.:** Есть еще один вариант — пригласить варягов. Вы знаете, из того, что писали о Ленине и Сталине за последние годы (особенно о Ленине), один из самых объективных исследователей ленинского периода (правда, он больше специалист по Бухарину, нежели по Ленину, но по Ленину он тоже писал) — это Стив Коэн. Точно так же, как биография Сталина, написанная Такером, наиболее объективна.

**Б.П.:** Но она тоже представляет какое-то…

**К.А.:** Естественно, есть какая-то точка зрения, какое-то видение… Нельзя требовать от историка, чтобы он скрывал свое видение, свой почерк. Я всегда своим западным коллегам, которые удивляются: «как у вас все интересно происходило!» (a действительно происходила чертовщина), всегда объясняю: «Одно дело, когда вы видите пожар, находясь в горящем доме, и совсем другое, когда вы смотрите со стороны». Со стороны вы будете видеть пожар, и, может быть, более объективно его опишете, потому что, когда ты внутри дома, то думаешь: «Где тут документы, что схватить, что нести в первую очередь и т.д.» Поэтому у нас пока (я думаю, что это в ближайшем будущем сохранится, нужно десятилетие, не менее) трудно ожидать объективного отношения к Сталину и Ленину, это слишком политизировано. Плюс к этому (я уже вам говорил), история хороша тем, что историк, через каких-то персонажей может сказать то, что он хочет сказать. Тот же самый Штекли, который написал Кампанеллу, Мюнцера, он, через этих персонажей, описал свои тюремные годы. В наше время разговор о Сталине — разговор об авторитарной власти, о Ленине, если заметили, сейчас говорят меньше, потому что обсуждать проблемы авторитарной власти напрямую иногда бывает накладно. Как было у Алексея Толстого в «История государства Российского от Гостомысла до наших дней»:

«Ходить бывает склизко

По камешкам иным,

Итак, о том, что близко,

Мы лучше умолчим».

…Поэтому маловероятно ожидать какого-то не политизированного, а объективного исследования. Тем более, если вы возьмете выходящие у нас работы по Сталину, мало кто использует сочинения самого Сталина, за редким исключением. В основном, обсуждают его поступки, иногда мифологизированные, иногда вымышленные, но чего-то объективного, чтобы изучить и слово и дело, такого нет и вряд ли ожидается. Что касается мифов, да, они стали мифами. Ленин в меньшей степени стал мифом, его мифологизация началась после смерти. После похорон Ленина собрали все венки, которые были в «Колонном зале Дома Союзов», и сфотографировали. Это — совершенно потрясающая и интересная вещь, потому что там и записки от детских садов, и от каких-то детишек школьников, которые пишут: «Дедушка Ленин был хорошим, любил кошечек и собачек, как жалко, что его нету», от заключенных бутырской тюрьмы: «Дорогому учителю», «От пассажиров поезда №4 “Москва-Ташкент”» и т.п. И вот один венок, по-моему, от криворожских комсомольцев, потрясающий, они, наверно, сами не доперли, что они сказали, но сказали они мудрую вещь: «Ульянов умер, Ленин жив». И здесь как раз и начинается мифологизация. Совершенно гениальная и блестящая фраза, которая очень многое объясняет. А дальше уже идет раскрутка. Сталинский миф начал создаваться где-то в 28-м или в 29-м году. Собственно, первый заметный шаг к этому мифу — это двадцать девятый год, пятидесятилетие Сталина, когда появляется всякая патетика: оды и т.п., а дальше идет по нарастающей. Но Сталин сам контролировал свой миф и недаром он общался с Барбюсом, с Фейхтвангером… И, в какой-то степени, почти миф о Христе: в убогой хижине, в яслях, появляется младенец и т.п. То есть Сталин его регулировал. Причем регулировался даже внешний облик: редактировались его фотографии, и тем фотографам, которые работали в Кремле трудно позавидовать, поскольку Сталин был маленького роста (где-то 156 см), Ленин тоже был небольшого росточка, правда, Ежов был еще меньше, поэтому Сталин его, видимо, и любил, что он был ниже себя. А когда снимали групповые, то Сталин не мог выглядеть ниже остальных, и найти ракурс, чтобы Сталин был в один уровень с высокорослыми, это было искусство.

**Б.П.:** (Улыбаясь). Фотошопа не было.

**К.А.:** Да, не было. Избегали снимков сзади, потому что у Сталина была довольно приличная проплешина. Вы ни на одной фотографии этого не увидите, за исключением черновых, которые остались в архиве.

**Б.П.:** Кирилл Михайлович, а как вы относитесь к текстам, которые написали европейские интеллектуалы по поводу Сталина: Ромен Роллан, Барбюс, Андре Жид и т.д., с точки зрения архива, с точки зрения подтверждений, которые вы находили, как к этому относиться?

**К.А.:** Барбюс отчасти выполнял заказ. Барбюс и отчасти Роллан жили за счет тех гонораров, которые получали здесь, а получали они совсем не мало. По поводу Фейхтвангера, то он создавал нечто, чтобы оттенить гадость Гитлера, поскольку Сталин тогда еще не был явным антисемитом. Плюс к этому Сталин умел производить впечатление, обладал своеобразным чувством юмора, и, в общем, он был редактором. Хотя, когда писали Барбюс, Роллан и Фейхтвангер, их никто здесь не редактировал, никто не говорил, что писать и как писать, это — внутренняя редактура. Сталину доносили, когда они приезжали, он давал соответствующие указания, но какого-то давления и принуждения: «Напишите так-то и так-то» -- такого не было. Сталин основательно редактировал исторические вещи. Не знаю, получится или нет, одна дама из наших студентов пишет исследование по исторической политике (история как часть идеологической политики). С историками Сталин работал основательно.

**Б.П.:** Вы имеете в виду историю ВКП(б)?

**К.А.:** Нет, не только. У него была великолепная переписка с Тарле. Он касался сюжетов Наполеоновских войн, Священного союза… В Нижнем Новгороде есть такой Зеленов. У него вышла два тома: «Переписка Сталина с историками» и его заметки. С Борисом Покровским Сталин тоже переписывался. ВКП(б) — там другое: сначала, под руководством Емельяна Ярославского, был выпущен курс «История ВКП(б)», был макет, но Сталину он не понравился. Кстати, среди авторов этого макета был и мой дед.

**Б.П.:** (Смеясь). Это тот, учебник которого вы читали?

**К.А.:** Нет, которого посадили, который латыш. Но, правда, он тогда был заместителем директора Института красной профессуры, так что у меня есть первоначальный вариант, правда, без его автографа. И Сталин начал второй вариант, и это потрясающе, потому что он редактировал краткий курс раза 3-4, а некоторые страницы больше. Это было так: макет, к нему приклеены машинописные кусочки, к кусочку приклеен еще кусочек с правкой Сталина карандашом или ручкой поверх этого текста, потом зачеркнуто, потом опять приклеено…. Причем, он все это делал сам! Сам резал и клеил. Причем, он не только редактировал краткий курс, но и в учебнике Леонтьева по политэкономии он переписал практически весь раздел «Рабовладельческий строй». В этом отношении фигура уникальная, потому что он был занят основательно. У него иногда проходило до сотни документов в день. Не простых документов как «Прошение о повышении жалования» или каких-то еще, а достаточно серьезных. Но он находил время читать, писал сам, еще и редактировал других. Работоспособность у него была потрясающая. Сейчас архив готовит так называемую платформу, куда войдет архив документов Сталина из РГАСПИ. В том числе, отдельно будет «Краткий курс истории ВКП(б)». Причем будет идти так, как оно есть, затем расшифровка, и будет еще оставлено пространство для комментариев ученых и для… Это проект, который делается совместно с Йельским университетом. Они были инициаторами, они выделяли на это деньги. Но представить себе, чтобы кто-то еще, после Сталина… Ну, во-первых, Хрущев ничего не писал…

**Б.П.:** Первый из них, который не писал?

**К.А.:** Ну, Булганин тоже ничего не писал. Молотов писал трогательные письма жене, но фигуры, которая вникала бы в текст так же, как Сталин, так же редактировал… Причем Сталин редактировал все эти знаменитые статьи Жданова в журнале «Звезда», про Ахматову и Зощенко тоже он редактировал, причем редактировал старательно. А краткий курс он, действительно, несколько раз переписывал, подклеивал…

**Б.П.:** Я хотел вас спросить: тема, которая мне кажется очень интересной, это литературa и власть. Дело в том, что в 20-30-е годы было время, когда, невероятным образом, власть интересовалась литературой, а литература интересовалась властью. Сталин читал художественные произведения, звонил каким-то авторам, происходили эти удивительные встречи у Горького, и то, что меня совсем поразило, не знаю, боюсь соврать, это была какая-то дискуссия по поводу романа «Улисс», где Карл Радек спорил чуть ли не с Троцким, переводить или не переводить на русский язык роман «Улисс». И это характеризовало то, что люди, находившиеся почти на уровне министров, занимаются тем, что в свободное время читают самый радикальный европейский модернистский роман, причем на языке оригинала, и долго спорят о том, нужно это советскому читателю или не нужно. Как можно объяснить тот интерес и то время, которое власть тратила на литературу, и почему сейчас этого нет?

**К.А.:** Насчет «Улисса» я ничего не могу сказать, не попадалось. Тем более что если там был Троцкий, то Сталин там вряд ли был.

**Б.П.:** Да, я, может быть, что-то путаю, я совсем давно об этом слышал, но такая дискуссия была.

**К.А.:** Что касается министров: Коганович практически не читал художественную литературу, Молотов — тоже, Сталин читал. Причем, для меня было неожиданностью, когда я обнаружил письмо Пильняка, что, вот, ему не дают разрешения выехать в Америку, ему это нужно для творческих вещей… Он выехал, потом вернулся, привез оттуда машину, катался на ней по Москве… Ну, история с Булгаковым достаточно известна… У Сталина как бы два начала… Я принимал участие в подготовке сборника «Кремлевский кинотеатр». Это записи Шумяцкого, который был председателем Госкино и который организовывал просмотры в Кремле, на квартире Сталина… Он — одессит, был нашим резидентом в Персии после революции…. И когда он представлял какую-то картину и видел, что реакция хорошая, он тут же быстренько вызывал авторов, актеров, представлял их Сталину и просил деньги на развитие кино. Абсолютно нормальная такая парадная управленческая игра. Он вел записи, причем, он вел их не в присутствии Сталина, так как это было невозможно. У него, по-видимому, была хорошая память, он приходил домой и записывал, кто что говорил. Причем он иногда там пишет: «Коба». Он одно время обращался к Сталину «Коба», они вместе были в Туруханской ссылке.

**Б.П.:** А, то есть он имел такое право?

**К.А.:** До поры, до времени. После двадцать пятого года он пишет ему: «Товарищ Сталин». Все, Коба ушел, вовремя остановился. Даже какие-то интонации передаются: Коба: «Этот фильм то-то и то-то», Коганович: «Фильм то-то и то-то». И такие вещи подробно, на три, на четыре странички. Интересно, что будто сидишь внутри этого круга, который смотрит кино: «Веселые ребята», «Чапаев» и прочее… У Молотова и у Когановича чисто прагматический подход с классовой позиции: правильная классовая позиция, неправильная классовая позиция. Сталин все-таки обращает внимание еще и на художественную сторону. Кино как пропаганда, как орудие для промывки мозгов, для него это важно (позже пойдет и радио, до телевиденья он не дойдет). Он понимает силу этого инструмента, он содействует, но, в то же время, у него есть какой-то вкус. Может быть, потому что он сам в молодости занимался стихосложением, писал стихи на грузинском языке, как-то интересовался литературой, у него больше литературного вкуса. И поэтому у него другие отношения с писателями. Есть его стенограммы встреч с писателями… Кстати, встречаясь с писателями ли, с директорами совхозов, он никогда не выделялся: «Вот, я пришел», он очень скромно сидит, слушает, не возникает, когда его просят выступить, выступает… Он умел показать себя достаточно простым, и он понимал силу слова больше, чем понимали Молотов, Коганович и прочие, и тот же Хрущев, который к литературе относился как-то… И если посмотреть, какие фильмы нравились Когановичу и какие — Сталину, это — разные фильмы. Когановичу нравится такое прямолинейное, где большевик это большевик, кулак это кулак, его прищучивают, в конце концов. А Сталин «Веселых ребят» даже в незавершенном варианте смотрел раз 15, в общей сложности — раз 50, «Чапаева» смотрел, ну, в общем-то, те фильмы, которые и сейчас в ходу. Искусство, конечно, было орудием пропаганды, есть хорошая документальная публикация, которая это подтверждает. Плюс к этому (ну, это, наверно, свойство русской интеллигенции), если брать процент доносов на 1000, среди военных были, но немного, среди технических тоже очень немного, а вот среди творческой интеллигенции — сплошь и рядом. Судя по архивам, которые есть в РГАСПИ и по другим публикациям, конечно, гадюшник был еще тот. Первый съезд Союза советских писателей, там, по-моему, 400 делегатов было…

**Б.П.:** А это, примерно, какой год?

**К.А.:** Где-то тридцать второй или тридцать третий, еще до Ежова, точно не помню, боюсь соврать. Где-то 400 делегатов и, примерно, 120 оперативных псевдонимов от НКВД. То есть каждый третий… Причем есть какие-то потрясающие вещи: кинорежиссер беседует с писателем, писатель говорит всякие гадости, а кинорежиссер не нашелся, что ему ответить. Так получается, по логике, по тому, что там видно, по хвостам, это беседа Эйзенштейна с Бабелем. После чего Бабель оказывается, в общем-то, не у дел. Конечно, там были потрясающие люди, типа того же Демьяна Бедного, который пишет Ежову записку: «Собирался я на харчи, да машина сломалась, а новой нету, надо какую-то басню «Лисица и журавль» придумать с просьбой о машине». Разные были люди, меркантильность была у многих…. В конце концов, тот же Пастернак писал стихи во славу Сталина, и были его гневные статьи по поводу процесса над Бухариным: «Сволочи, так вам всем и надо!», потому что Бухарин поддерживал другую литературную ориентацию. Здесь очень непростая история, но очень интересная, и без анализа того, что происходило в сознании, как это люди все воспринимали… В архиве РГАСПИ очень большой фонд писем с мест по поводу коллективизации. Причем большей частью идут деревенские люди и как бы в пользу коллективизации, и ясно, что это не организованное, потому что когда на семидесятилетие Сталина прислали порядка 150000 поздравительных открыток из Польши, это явно было организованно, и организованно хорошо. Здесь более или менее искренне. И этот материал опубликован, но используется очень мало. Это «Письма во власть», о чем люди писали власти.

**Б.П.:** А это не издано?

**К.А.:** Издано! Вся проблема в чем: опубликовано очень много документальных сборников… Скажем, шестидесятитомная «История программ политических партий России». Расфасовано там: националисты, трудовые, меньшевики и прочее, но использование этих публикаций на нуле. Если раньше люди говорили: «Дайте нам архивы и мы перевернем мир», архивы открылись…

**Б.П.:** А почему так происходит, сознание людей остается идеологизированным?

**К.А.:** Нет, я думаю не поэтому, а потому что это требует дополнительного труда. Когда приходит человек в архив и говорит: «А у вас распечатки нету? Что я должен рукопись читать?» Это значит, что человек не готов к работе с архивом. Более того, когда это опубликовано (я понимаю, что это опубликовано мизерными тиражами -- 500, 1000 экземпляров), скажем, вот эту шестидесятитомную «Историю политических партий России» (они за это получили лауреатов государственной премии), ей мало кто пользуется. Вот эти блестящие издания: «Власть и художник», «Власть и творческая интеллигенция», «История цензуры в Советском Союзе», отличные, великолепные сборники, бери и работай с ними. Нет! А в принципе, заняться ощущениями людей, как они жили в ту эпоху, тем, что называется «общественное сознание» — элементарно! Даже есть такой тип документов, когда партийные лекторы разъезжали по разным точкам и читали лекции в связи с тем-то и тем-то, они потом должны были поставлять либо в обком, либо в ЦК, в зависимости от уровня, какие вопросы им задавали. Даже вот эта простая вещь дает понятие о том, чем в то время интересовались люди, какие вопросы они задавали, что их волновало… Скажем, после войны было твердое убеждение, что американцы настоят на роспуске колхозов, и задавали вопросы: «Когда будут распущены колхозы?» и т.д. Беда в том, что не все историки (а политологи и того меньше) умеют работать с документами, потому что документ, если хотите, как подозреваемый: если вы не будете задавать ему вопросы, он ничего не скажет. К тому же надо уметь задавать вопросы, а этому, к сожалению, учат очень плохо. Поэтому многие стараются обходиться какими-то вторичными источниками, вторичными монографиями, а не этим.

**Б.П.:** Но все-таки вопрос, который мне не дает покоя: Троцкий в 23-м году…

**К.А.:** Кстати, пока не забыл, я был знаком с Меркадером.

**Б.П.:** Да?! Расскажите!

**К.А.:** Когда я в первый раз попал в Центральный партийный архив, там работала группа испанских товарищей, которая готовила «Историю гражданской войны в Испании». Кабинет, где я сидел, находился рядышком с ними, я им завидовал, им разрешалось курить прямо в комнате, плюс к этому у них всегда пахло хорошим кофе. И был там некий товарищ Лопес, очень благообразный мужчина в возрасте, ему бы играть там «Богатые тоже плачут», такой настоящий синьор из общества. Всегда очень элегантный, а на праздники он носил звезду героя. И никто толком не знал, кто он, что он делал… Ну, герой и герой. А мы с ним курили на лестнице. И только потом я узнал, что это — Меркадер. Он работал в этой группе.

**Б.П.:** Но он, насколько я понимаю, отсидел какое-то время?

**К.А.:** Он отсидел в Мексике, а потом вернулся сюда, и здесь жил, здесь умер, а потом его прах увезли на Кубу и там похоронили.

**Б.П.:** Можете о нем что-нибудь рассказать, он чем-то вам запомнился?

**К.А.:** Ну, он мне запомнился как такой, респектабельный мачо. То есть было видно, что мужик благородных кровей, действительно, красивый был мужик… В отличие от испанцев, довольно высокий.

**Б.П.:** Его же в фильме играл Ален Делон, насколько он похож на Делона?

**К.А.:** Ну, если брать его молодые фотографии, когда он убил Троцкого, то что-то есть.

**Б.П.:** Вот, что я хотел спросить по поводу Троцкого: в 23-м году он выпускает книжку, сборник статей, ну, или это можно считать общим, цельным произведением, под названием «Революция и литература» или «Литература и революция». Наверное, он писал эти произведения раньше, но в 23-м году, когда обывателю, вроде, кажется, что нужно вести борьбу за власть, человек выпускает книгу о литературе.

**К.А.:** Во-первых, власть уже захвачена, во-вторых, это начинается борьба между пролеткультом и его противниками, пролеткульт снесет все до основания и будет строить с нуля. Все-таки среди большевиков были люди, получившие классическое образование и имевшие классический вкус. Тот же самый Луначарский, который был автором нескольких пьес и интересовался не только актрисами, хотя и ими тоже, но интересовался литературой. Нет, тут литература как поле боя, так же, как и история как поле боя. Кстати, есть хороший сборник «Писатели и власть», есть книжка Дениса Рубченко, он у нас работает, он как раз занимался проблемой «Власть и писатель», «Власть и художник». Сейчас еще опубликованы материалы идеологических комиссий ЦК, но это уже после сталинских. Там шестидесятые, семидесятые, тоже сборники документов, но их мало используют, опять-таки, та же самая история.

**Б.П.:** А сейчас власть не считает литературу ареной политической борьбы, они считают, что просто никто не читает?

**К.А.:** Я думаю, что да. Во-первых, читать стали меньше, во-вторых, интернет вытесняет, в-третьих, современной молодежи свойственно сознание клипового восприятия, поэтому дочитать одну книгу до конца удается далеко не всем, изменилась психология, изменилось восприятие. Во времена моей молодости поэтические вечера, и не только в Политешке, привлекали внимание. Мы как-то больше знали поэтов, поэзии, сейчас же этого практически нет.

**Б.П.:** Они возобновили чтения в Политехническом.

**К.А.:** Ну, не знаю, думаю, там средний возраст где-то 50 лет и старше.

**Б.П.:** Вы имеете в виду поэтов?

**К.А.:** Зрителей.

**Б.П.:** Нет, зрители бывают и молодые, я там был. Не знаю, насколько это возрождение классики, но что-то они пытаются сделать. А, может быть, тогда у политиков и представителей первого поколения большевиков и революционеров было утопическое мышление, и литература им была близка, потому что они воспринимали мир как утопию, которую можно воплотить. А сейчас все вытеснила политическая практика?

**К.А.:** Вы знаете, там тоже были разные. Скажем, Чичерин, Луначарский, Бонч-Бруевич — это были люди, которые тяготели к литературе. Луначарский сам пробовался. Коллонтай, которая тоже, в общем-то, сама пробовалась как писательница. А были люди, которым это было не очень важно. Тот же Владимир Ильич, кстати, его художественные вкусы оставляли желать лучшего. И лучший писатель для него это Короленко, потому что он дает статистику деревенских будней. А футуризм это вообще отдельная история. Когда был план монументальной пропаганды, когда Москву пытались сделать наподобие «Города Солнца», большой наглядной агиткой, он был очень рассержен некоторыми скульптурами, призывал Луначарского сечь за футуризм и т.п. Он был чужд этому. Здесь, в принципе, так же, как и Николай II, он тоже мало литературой интересовался. Здесь еще как-то трудно составить групповой портрет… То, что литература это орудие формирования нового человека, это орудие воспитания того гражданина, который нужен государству, это да. А поскольку, в 20-е годы печатное слово было единственным инструментом (ну я не беру плакаты, хотя они — тоже было полупечатное слово), по мере того, как развивается кино, меняется отношение к литературе, по мере появления радио — дальше, телевиденья — тоже, интернет — это вообще переворот. Мир меняется. Люди воспринимают мир через другие источники, через другие органы чувств. Слово — это мысль, отчасти — образ. А сейчас больше воспринимается образ, и если есть какой-то текст, то это уже тяготит. Если я не могу с картинки сразу понять, о чем идет речь, я читать не буду. Отсюда и цена, отсюда и отношение к литературе, отсюда и отношение вообще к гуманитарщикам, потому что гуманитарии — только одно расстройство. (Смеясь). Просят денег, а потом напишут такое… А еще задумаются о власти: хорошая она, нехорошая… А в писании сказано: «Власть аще не от Бога…», и все ясно.

**Б.П.:** А вот еще по поводу архива я вас хотел спросить, и тоже по поводу соотношения утопии и политической прагматики: те документы, которые есть, те личные архивы, какие-то французские источники, которые скупались и потом аккумулировались в этих архивах…. Действительно, бросая широкий взгляд на эту эпоху, сколько процентов утопии, а сколько — прагматики? Как вам кажется?

**К.А.:** В общем-то, утопия иногда появляется сознательно. Может быть, один из самых ярких примеров утопии — конституция 1936 года. Самая демократическая конституция в мире. Тридцать шестой год: с одной стороны расстрельные альбомы, с другой — конституция. Утопия?

**Б.П.:** Утопия.

**К.А.:** Понимаете, утопия, на мой взгляд, если брать классическую утопию, а не создание мифов, которые потом превращаются в утопию, то утопия — то же самое, что в моде от кутюр. То есть утопия показывает какие-то модели, в которых мало кто выйдет на улицу. Она дает какие-то ориентиры. Это — классическая утопия, это предназначение утопии. Не давать программы, потому что большинство утопий не дают ответ на вопрос «как сделать». Что можно сделать — да, как — это уже другой вопрос. То есть это какие-то вешки, какие-то образы, символы, идеалы, к которым можно приближаться, которым можно подражать. Но в упрощенном варианте, потому что в платье от Кордена, которое показывают на неделе мод в Милане, вы вряд ли поедете в московском метро или в маршрутке. Но, тем не менее, они нужны. И в этом смысле конституция тридцать шестого года ни чуть не хуже любых утопий. То же самое было во Франции: конституция 1793 года, которая была еще демократичней, чем сталинская конституция. Там вообще ни один закон не мог быть принят без одобрения двух третей собрания народа в провинции. Блестящая конституция, это был 93-й год, период якобинского террора. Это то, к чему мы стремимся. Почти по Черномырдину: «Хотели как лучше…»

**Б.П.:** А вот еще насчет утопического сознания хотел вас спросить: можно ли сказать, что русское сознание в каком-то смысле утопическое? Все наши политические учения, X-XIX век, характеризуют утопическое сознание, то есть мы стремимся к какому-то высокому этическому идеалу. И советское время — тоже стремление к высокому этическому идеалу. И от этого этикоцентризма в политике мы отошли лишь в последние 20 лет. Как вам кажется, обозначает ли это, что не так долго политической прагматике существовать на Руси, что скоро какая-то новая утопия к нам придет?

**К.А.:** Классический пример утопии такого типа — это Манилов. Если считать это выражением русского духа, то это никуда, никогда от нас не денется. (Смеясь). Мы будем думать о том: «Ах, как славно было бы, если бы нос от Петра Петровича да к ушам Ивана Ивановича… Как хорошо бы здесь проложить хрустальный мостик, чтобы в гости ходить друг к другу». Это никуда не денется, это свойство национальной культуры, свойство мышления. Понимаете, скажем, в Скандинавии за XVIII-XIX век не было создано ни одной утопии. Это свидетельствует о том, что они были очень практичными, очень приземленными. Им было не до мечтаний, они пахали. Это от части влияние протестантской культуры, потому что православие, равно как и католицизм, внушают веру в чудеса. И это ожидание чуда отнимает столько сил, что их ни на что другое уже не остается. Поэтому для России, наверно, это свойственно. Плюс к этому мечтают тогда, когда мало что можно сделать. И вот тогда (может быть, еще одна деталь) страны, где материальное существование на очень низком уровне или вообще ничтожно, они, как правило, сильнее в духовной жизни. Если взять Англию, то такая ее часть как Ирландия — это самая бедная, самая нищая, но вся английская литература держится на ирландцах. Народная музыка тоже на ирландцах держится. То же самое, как в конце XIX века Россию противопоставляли Западу бездуховному (тот же самый «Закат Европы» Шпенглера), материалистический Запад и духовная идеалистическая Россия, потому что в ней материальное бытие было не таким, чтобы его можно было обсуждать. У нас это будет, потому что, несмотря на Церетели и прочие достижения искусства, все-таки для большинства людей мечтание и надежда на что-то чудотворное остается единственной.

**Б.П.:** Будет что изучать на кафедре истории социально-политических учений.

**К.А.:** Слава тебе, Господи!

**Б.П.:** Спасибо большое, Кирилл Михайлович!

**К.А.:** И вам спасибо.